

Л С Р П В Л Л И Ф
Л С Р П В Л Л И Ф
ЛЕВ ХАЛИФ

ЦДЛ — это Центральный дом литераторов в Москве.
Набитая склоками, завистью, лестью и бесплодием
писательская коммуналка.

Сергей Довлатов

Ц Д Л



Лев Халиф

ЦДЛ

«Центрполиграф»

2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)

Халиф Л.

ЦДЛ / Л. Халиф — «Центрполиграф», 2017

ISBN 978-5-227-06632-9

Лев Халиф – русский поэт, прозаик, автор знаменитого четверостишия «Черепаша», которое в 50-е годы стало фольклорным. «Черепаша» ходила в списках, ее цитировали в спектаклях Эдлеса и брал эпиграфом Юрий Домбровский, но неизменно снимала цензура, тем более если она шла под именем автора. Однажды «Черепаша» была напечатана миллионным тиражом на обложке радиожурнала «Кругозор». В роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба» «Черепаша» попала уже как фольклор. В 1977 году Халифа буквально вытолкнули в эмиграцию. «ЦДЛ» и роман «Пролом» были написаны на чужбине.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)

ISBN 978-5-227-06632-9

© Халиф Л., 2017
© Центрполиграф, 2017

Содержание

Талантливо, горько, правдиво	7
ЦДЛ	9
Конец ознакомительного фрагмента.	80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Д О М ЛИТЕРАТОРОВ

Лев Халиф

ЦДЛ

ХОХМЫ ХАЛИФА ГУЛЯЛИ ПО МОСКВЕ,
ЕГО «ЧЕРЕПАХА» СТАЛА ФОЛЬКЛОРОМ.
А ПОСЛЕ «ЦДЛ», ДАЖЕ НЕОПУБЛИКОВАННОГО, ЕГО ВЫШВЫРНУЛИ ИЗ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ И ПРЕДЛОЖИЛИ УЕХАТЬ ИЗ СТРАНЫ.

**НО ХАЛИФ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ,
И МИР ЕГО НЕ ЗАБЫЛ.**



Оформление художника Е.Ю. Шурлаповой

© Халиф Л.Я., 2017

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2017

© «Центрполиграф», 2017

Талантливо, горько, правдиво

Года три назад шел я по Ленинграду со знакомой барышней. Нес в руках тяжелый сверток. Рукопись Льва Халифа «ЦДЛ» на фотобумаге.

(С автором мы тогда не были знакомы. Знал, что москвич. А следовательно – нахал. Фамилия нескромная. Имя тоже не без претензии. Но об этом позже...)

Захожу в телефонную будку позвонить. Барышня ждет у галантерейной витрины. Вижу – к ней подходят двое. Один что-то ей говорит и даже слегка прикасается.

Я выскочил, размахнулся и ударил ближайшего свертком по голове.

Парень отлетел в сторону. Но и сверток лопнул. Белые страницы разлетелись по Кубинской улице.

И тут я, признаться, оробел. И так с государством отношения неважные. А здесь – милиция кругом... Ползаю, собираю листы.

Ловеласы несколько пришли в себя. Постояли, постояли... Да и начали мне помогать. Сознательными оказались...

Так книга Халифа выдержала испытание на прочность. Свидетельствую – драться ею можно!

ЦДЛ – это Центральный дом литераторов в Москве. Набитая склоками, завистью, лестью и бесплодием писательская коммуналка.

Дом, из которого выселили его лучших обитателей.

Где неизменно «выигрывают серые».

Где десятилетиями не хоронят мертвецов...

Герой или, вернее, героиня этой книги – литература. Фабула – судьба отечественной литературы. Сюжет – ее капитуляция и гибель.

Отношение к современной русской литературе у Халифа крайне пессимистическое. Ее попросту не существует. Есть талантливые прозаики и стихотворцы. Есть талантливые критики и литературоведы. А живого литературного процесса нет. Есть другой процесс. Процесс истребления русской литературы, который успешно завершается.

Хочется привести такую незатейливую аллегорию.

Допустим, у вас есть мать. Допустим, она проживает с братом в Калифорнии. Неожиданно брат сообщает:

«Мать в тяжелом состоянии».

Вы ему телеграфируете:

«Что с ней?»

Брат отвечает:

«Осень у нас довольно прохладная...»

Далее следует талантливое и подробное изображение калифорнийской осени. О матери же – ни слова.

Вы снова телеграфируете:

«Что с матерью?!»

Получаете ответ:

«Транспорт у нас работает скверно...»

Далее следует живое, правдивое и критическое описание работы транспорта. О матери же – ни звука.

И так без конца. Ни звука о главном.

Халифу можно возражать. Можно говорить о неожиданно (для третьих эмигрантов) полноценной литературе русского зарубежья. Можно говорить о подводных течениях в нынешней советской литературе. Размахивать внушительным и ярким «Метрополем». Все это можно...

Но у Халифа есть точка зрения. И выражена она талантливо, горько, правдиво.

«ЦДЛ» – это документы, лирические и философские отступления, хроника, анекдоты, бытовые зарисовки.

Не менее разнообразна и тональность книги. Здесь уживаются дидактика с иронией, ода с поношением, благодушная насмешка с язвительной колкостью, возвышенная лексика... с многоточием.

Юрий Мальцев («Вольная русская литература») справедливо указывает: «В своей экспрессивной метафорической прозе Халиф, несомненно, следует традиции таких поэтов, как Марина Цветаева и Осип Мандельштам».

Лично я расслышал здесь также и хитрый говорок Марамзина: «...Мы уезжаем, а вы нам догонку глаза свои посылаете...»

Можно вспомнить и напевы Андрея Белого. И карнавал метафор Юрия Олеши.

Действительно, единица измерения прозы Халифа – метафора, то и дело возвышающаяся до афоризма. Цитировать – одно удовольствие.

«...Этот, со стопроцентной потерей зрения, возомнил, что он – Гомер. Ему виднее...»

«...Спартак Куликов... Имя – восстание, фамилия – битва...»

«...Ударил кто-то бомбой в Мавзолей, но вождь остался жив...»

«...Дрейфус умер, но дело его живет...»

«Всякую колыбель – даже революции – надо раскачивать...»

Поначалу меня раздражала нескромность Халифа. Или то, что я принимал за нескромность.

Автор говорит, например, о заветной книжной полке. О книгах – шедеврах двадцатого века:

«...Тут и „Доктор Живаго“ Пастернака. И „Архипелаг ГУЛАГ“ Солженицына... Да и эта – моя – туда встанет».

Неплохо сказано?!

Поначалу я от таких заявлений вздрагивал. Затем не то чтобы привык, а разобрался.

Не собою любит автор. И не себя так уверенно различает на мраморном пьедестале. Используя формулу Станиславского, Халиф не себя почитает в литературе. А литературу – в себе и других.

Этим чувством – преданности литературе, верой в ее фантастическое могущество определяется тональность книги.

И еще.

Я благодарен Халифу за несколько страниц о родном и незабываемом Ленинграде. За «Сайгон» и за «Ольстер». За «Маяк» и за «Жердь». За Вахтина и Шварцмана. За таинственного Лисунова и умницу Эрля. За нечасто протрезвляющегося Славенова и даже за Мишу Юппа. Книгу Халифа не только читать – удовольствие, но и в руках держать приятно...

Сергей Довлатов

Новое русское слово (Нью-Йорк)

1979, 16 декабря

ЦДЛ

Документы, лирические и философские отступления, хроника, анекдоты, бытовые зарисовки

Карлики в дверях и великаны – братья во кресте / Мы – Союза писателей член / Колизей любопытства / Смертник слова / Великие творили натошак / Толчок в литературу / Столько-рукий Шива, тебя бы в наш Союз / Особирили / Сдирая с груди номера / Нация ищет свои таланты / Назвать – значит не быть / Вы говорите – время проходит... Глупцы, это вы проходите! / «Синтаксис» / Выездная редакция «ЛГ» на Западе / И вы не смоее всем вашим черным кофе поэта праведную кровь! / Человекобомб / По какой категории будете меня хоронить? / Я валюту везу в голове / Биография накаляет строку / С чучелом Земли под мышкой / Не бытие – битие определяет сознание / Бабушка-стюардесса / Все вы писатели на словах / Мы – с донорством, а к нам с вампирством / Из чего твой панцирь, черепаха? / Ленинград – самый подмосковный город мира / Ударил кто-то бомбой в Мавзолей, но вождь остался жив / Любую колыбель, даже революции, надо раскачивать / Давид и Голиаф / «Сайгон» / Переделкино / Иллюзия ненапрасных жертв / Пусть зрячие напишут одиссею! / Мы – интернациональная страна, здесь всем досталось / Выпердосы / Писателю сидеть положено / Сильные мира сего – ссылные мира сего / Всеми правдами и неправдами жить не по лжи / Самогонщица патриотического кваса / Юрздрав / Лесоруб, он природу любит / Сдался... и издался / У меня есть собственное мнение, но я с ним в корне не согласен / ВОХРАП – Вооруженная Охрана Авторских Прав / Справа – пустыня, а слева? – мираж / Маяк – это же куда не надо плыть / Минные поля нравственности / И что бы такое дать тебе в зубы и что бы тебе пошло, как Черчиллю сигара? / Свобода творчества... Ее навалом, цензоров еще больше / Уже вздернут за голос / Автоматная очередь дошла бы куда быстрее / Вот она – современная русская плаха / Мама Родина, я целую тебя в рот! / И почему человек с выбитыми зубами не звучит так гордо? / Всю жизнь нас Европа с толку сбивала / Моноложка / Рекорд трагизма / Эпилог

Однажды в Москве на улице Герцена я увидел малыша, перебегающего дорогу в ЦЭД-ЭЭЛ.

Еще секунда и... Я бросился и выхватил его буквально из-под самых визжащих колес.

Я хотел было отшлепать мальчишку. Но он обернулся ко мне, разжал свои тысячелетние морщины и прохрипел: «Ты что, спятил?» Это был детский писатель Коринец.

И вдруг я понял, спасибо случаю:

ЦДЛ – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ЛИЛИПУТОВ!

Три карлика в дверях. Как на засекреченном заводе.

Мини-диктатура. Мини-администрация! Уполномоченная принохиваться к входящим писателям.

Кто ее уполномочил? Долг?

Правления... Правления... Правления... Неисчислимые правления... Даже в клубе – иерархия вышибал. Из числа писателей, забывших свое святое назначение – писать. Пусть без святости. Хоть как-нибудь.

Но какое там писать! Все хотят – управлять. Даже неуправляемым подтекстом. Который нет-нет да и проскользнет кое у кого.

Грызния у штурвала. Столпотворение. Подпиленное чувство когтя. Локоть, толкающий под ребро.

Мир да совет...

Нет мира под фикусами ЦДЛ.

Есть совет.

Да что он посоветует?!

Есть товарищеский суд.

Да какие они товарищи?!

Неимущие. Ни таланта и ни отчества. Ничего, кроме почерка. И то корявого и ученического. Затерянный в толпе подобных, незаменимый для анонимок и доносов – им они пытаются писать оригинально!

Все хотят быть писателями.

Врачи в писательской поликлинике и те перестали лечить – пишут.

Администраторы имитируют задумчивость – пишут.

Первый карлик ЦДЛ, кажется, родственник известного булочника Филиппова, который спекся в 1917 году. Помнит анекдоты про артистов – принят в Союз писателей. Анекдот!

Заготовители картошки, маршалы и генералы, малооплачиваемые инструкторы райкультуры и всяческие начальники, массовики и затейники, культуртрегеры и осведомители... Вся большая и малая номенклатура, вспоминальщики и вспоминальщицы, смутные веды и явные ведьмы – все кому не лень, кто хоть как-то умеет держать в руках и подслонивать карандаш... Все прут в писатели.

Даже убежавший директор мебельного магазина и тот на Западе стал обозревателем, специалистом по советской литературе.

Сановник идет в литературу со свитой. Приближенные разбредаются по жанрам.

При всем кажущемся вавилонстве и неразберихе – здесь тем не менее четкий порядок. Как в казарме – субординация и чинопочитание. Попробуй здесь остаться самим собой!

В музыке надо иметь слух и знать ноты.

В футболе – ноги.

В живописи – глаз и набитую плакатами руку.

Владычица дум – ЛИТЕРАТУРА. Пара слов, сказанных исподтишка, и миллиарды во всеуслышание. Ты всего-навсего – ДОЛЖНОСТЬ, призрачность, дающая реальность жить безбедно. Всем, кроме родившихся поэтами.

Без единой капли риска. Без права удивить и, тем более, повести за собой.

Творчество без горения. Унылая самодеятельность.

Децибелы сотрясают воздух. И оседают на книжных прилавках, сквозящих стеклом магазинов-гигантов. Прогибая их многотонным пустословием.

И это Литература, бывшая когда-то Полем боли?

Энциклопедия человеческих страданий? Хрестоматия духовности? Крик и клич человеческой души?

Подземные и мутные потоки, спеленутые телефонным кабелем. Земля дрожит от ничемных разговоров... Ее пучит от засыпанных траншей.

Литературная канализация!

Подземные и мутные потоки телефонных словоизвержений... И летящая поверху паутинка насущного телеграфа... Вот твоя сегодняшняя эмблема – не госпожа Литература!

Глашатай литколлективизма – Маяковский сторонился давать свои стихи в альманахи. Ревниво пеленал свои железобетоны в мягкие переплеты отдельных изданий.

Великан боялся затеряться среди лилипутов. Немудрено!

А тут царит – Мисс Совпис. Хоропись!

Со времен Маяковского этот муравейник увеличился в тысячи раз.

Ныне Литература – шапка по кругу – кто чем богат. «С миру по нитке» – кому-то рубаха! Одна на всех! Ситцевая, посконная или дерюжная – лишь бы красная! И боже тебя упаси – быть богаче других!

Диапазон восприимчивости писателя здесь вполне ограничивается насморком, схваченным в народе. Искра божья? Да мы – атеисты!

Вознесенье – куда?
Раболепье – зачем?
Гнуть талант свой – с какой это стати?
А вот и мы – союза писателей член,
С «чего изволите?» к красной дате.

Но его не сразу пропустят. Это в писатели попасть легче, чем в писательский дом.
Где страх пересиливает талант – дар уникальный, чудо, которое не советская власть дарует.

Бог ты мой, сколько же самоцветов здесь в блевотные лужи втоптанно?
Сколько их, сломленных, и по сей день здесь гуляет?!

Карлики в дверях...

Стоит вместо бюста Шекспира – не краснеющий густо Шапиро. Посмотришь на него и воочию увидишь истоки антисемитизма. В лагере про таких говорили: «Композитор – оперу пишет»... Оперуполномоченному. Хлопотун!

Третий юркий – Бродский. Это он однажды не пустил пенсионера Микояна, еще не написавшего мемуары. Еле оттащили. Ну а сошек помельче, вроде всяких там Катаевых, он вообще без предъявления писбилета... не пускает. Взглядом дырявя, как компостером, долбит одно и то же:

– Член дома? Член дома? Член дома?..
– Нет, с собой.

ЦДЛ. Здесь вшибают в литературу и вышибают из нее. Здесь хоронят пышно. И заживо. Здесь шибает в нос сивухой и ухарством.

Попарно, взявшись за руки, по зеркальному паркету идут соавторы. И одиночки.
Скользко!

Идут, держась за одну фамилию, – однофамильцы.

Сколько их!..

Вот кто-то встал. Затих. Творит. Обмахивается ушами. Мозг его прокрустово ложе, где он мысленно сечет неумещающиеся головы сотоварищей повыше себя. Красные уголки его губ вздрагивают, и слюни густо текут по безмедальному лацкану его поношенного пиджака.

Скольких из нас он уже гильотинировал?

А этот – далеко не мечтатель. В свое время он поставил к стенке не одного нынешнего классика.

Лилипуты истребляли великанов.

37. Роковая цифра. Тройка – заколдована, семерка – священна (троица, семисвечник, семь).

37. В этом возрасте, как правило, уходят из жизни настоящие поэты.

1837 год. Погибает 37-летний Пушкин.

Сотню лет спустя тоже хватало трагедий!

ЦДЛ. Бывал ли здесь Осип Мандельштам? Или не успел?

В 37 – за декаданс —
этапом в Магадан-с...
Какой уж тут поэту выжить шанс?

Велимир Хлебников: «Мне 37. Люди моей задачи в этом возрасте умирают».

Хлеб русской поэзии... Сколько последышей – его поели!.. Кроша об свое беззубье.

ЦДЛ. Здесь Алымову понравилась песня «По долинам и по взгорьям». Вскоре автор ее – дальневосточный поэт – был оклеветан и расстрелян.

ЦДЛ. Здесь Павел Васильев надевал яичницу на голову Сергея Васильева и спрашивал: «Ну почему твои лучшие стихи принимают за мои... худшие?» И, покончив с глазуньей, хватал за бороду почтенного старца. Увлекая его за собой и крича:

– В белом венчике из роз
Впереди Абрам Эфрос!

Кто-то напишет в НКВД, что поэт стрелял в портрет Сталина. Вождь рассердится и прикажет расстрелять. Взаимно.

ЦДЛ. Кто-то кропает донос на Бориса Корнилова. Киршону легче, он уже в пути. Уже отдрожал. Уже схвачен. Отволновался и Пильняк. В отличие от Киршона, конечно же схваченный не за бездарность.

Давид Бергельсон, гуманнейший Перец Маркиш, беззащитный Лев Квитко... Короли Лиры, по крови Михоэлсы... Им еще жить да жить! Им еще надо побороться с фашизмом. Пережить его. И лишь потом принять пытки и пулю. Вместе со всем антифашистским комитетом. Так и не поняв – за что же их убили свои!

Мертвые остаются молодыми.

Благообразными, седыми, улыбчивыми ходят палачи.

Недавно умерший Смеляков, не смело помнивший друзей, так и не дождался времени рассказать правду. Уж он-то знал, кто кого ставил к стенке.

Не стало и последнего из «космополитов» – Федора Марковича Левина.

Литераторы, —
куда концы запрятали?

Есть в ЦДЛ стена-мемориал погибших на войне с фашизмом писателей. Но нет на ней имен тех, кто пал от рук собственных палачей, у которых фашистам – учиться и учиться!

Что-что, а редактировать свои летописи наши Пимены умеют!

История что пластилин – знай лепи «по высочайшему повелению».

Екклесиаст и Песнь песней, Откровения Моисея и Матфея... в общем, весь текст Ветхого Завета, который по праву принадлежит народу избранному, однажды перевели на другие языки. Этот день евреи считают черным днем своей религии. Исконно иудейское распространилось по всей земле.

Иероним, переведший Завет на латынь, – стал святым. Я не оспариваю святости его подвига, но меня больше потрясает легенда о 70 толковниках, которые переводили Ветхий Завет на греческий. Они сидели в своей башне, не сообщаясь – каждый в своей келье. Сидели до тех пор, пока 70 текстов не совпали слово в слово.

Так бы писали нашу Историю!

Книга Деяний – и та не закончена. Еще многое предстоит сделать человечеству. Но если даже Книга Деяний еще творится, то Книга нашей новейшей Истории – и не начата. И если ее напишут, то только не дома.

Историю нашу такой, какая она есть, нам не видать как своих ушей. Официоз не допустит.

Неприглядную, подчас страшную – ее скрупулезно создают те, которым, казалось бы, не до нас. Историю России фиксируют не в России. Летописцы ее – кто угодно, но только не мы. И не потому, что кому-то за нашими пределами больше всех надо. Просто должен восполняться пробел в Мировой Круговерти. Для полноты картины Жития человеческого мы – не последнее звено. Затянувшаяся пауза череду эпох не волнует.

Полстолетия – миг в мироздании, а для нас целая жизнь!

Потомки – они любопытны. Да и Время не терпит загадочных пустот и провалов. Забывчивые поколения здесь в счет не идут.

Когда-нибудь на досуге будут читать захватывающий детектив нашей Эпохи. К тому времени уже схваченной с поличным. И обрамленной в траурную рамку.

И, возможно, будут смеяться, как мы когда-то смеялись над Дон Кихотом. И лучшему из нас Чего-то и Как-то Написавших – присудят (посмертно, разумеется) премию – «За самый поэтический текст на самую страшную тему».

Не надо нагибаться над тем, что легко поднимается... на смех.

Надо писать, видимо, очень серьезно. И тогда будет по-настоящему смешно. По крайней мере, будет смех не всухую.

Плакал Сервантес, когда писал своего Идальго. Рыцарь Печального Образа... жизни! Хохочет человечество, его читая. Хохочет до слез. Хотя после ветряных мельниц случались трагедии и похлеще.

Письменный стол – колени, пододвинувшие чистый лист. Краеугольный камень, полирующий кровь. Обозримое поле... Всю жизнь идти – не перейти!

Стол письменный, операционный. Борьба за Человека.

Творчество – это прежде всего надсадная битва за Индивидуальность в стаде. Соавторство с Природой в наитруднейшем деле Вставания с четверенек.

Непохожесть, и Только она, должна стоять во главе угла... каждого письменного стола. Каждого, поставленного как трибуна. Каждого, вросшего, как плотина, против привычной инерции.

С высоты положено говорить неслышанно. Нагорная проповедь еще до ракет поднимала людей в небо.

Чудо – абстрактное слово. Но сопричастие с таинством возникновения его читатель должен ощутить в полной мере. Иначе какой смысл во всех наших Писаниях и Сказаниях?!

Сказать читателю нечто ему известное – это заведомо обречь себя на запанибратские с ним отношения. А это ни к чему.

Творец не ждет «спасибо» за то, что он такой вырос. «Спасибо» – это еще не взаимопонимание. Творца укоряют в излишнем самолюбии. Но себя он любит, как рабочий свой станок. Да и потом, если он любит себя, значит, он любит и себе подобных. Хотя они и не такие отрешенные, как он. Хотя они и живут в параметрах достижимых своих потолков. И в отличие от него куда более счастливы.

Вы – при деле, а мы на пределе.

– ...Вспоминать – это как начинать жить сначала. А ведь не хочется. Не такая уж это была жизнь, чтобы снова ее пережить. Вот если бы жил как хотел, а не как жить принуждали. Ведь выбор здесь невелик. Если не сказать, вообще нет выбора. Когда живешь нелепо и враждебно своим представлениям о жизни как таковой. Если жить, конечно, хочешь. Да и то – какие это представления! Что мы, жизнь другую видели! Так – догадка.

Раз не отмахнулся, зная, чего это стоит – от них отмахнуться. Два... И вот они уже считают, что ты согласился с тем, что их образец жизни – самый лучший. И поперла их прическа тебе на лоб. И полезла кольцами их шерсть на твою побритость. И, уж сидя, копчик свой начи-

наешь вдруг ощущать. Не бесплатны эти виляния, пригибания да промалчивания... Это вам – писателям-поэтам плевать на их указания. Вот ты, небось, писал себе в бумажную тряпочку. В отличие от тех, кто просто в тряпочку помалкивает. Ваш брат хитер. Свое дело туго знает. Пришла Муза, и вали ее на письменный стол. А вот теперь я тебя и спрошу, пожалуй, – ну и как – стоит эта дивчинка начинки? – спросил мой сосед.

– ?

– Понятно. Профессиональная тайна. Ну хоть скажи – приятно с ней жить?

– Может, где-нибудь и приятно. Только не здесь, – отвечал я сквозь стену. – Здесь это называется – любовь с Божьим страхом. Может, это и обостренней, чем просто любовь. Но все одно – это связь с извращением. Проще писать чернилами. Тут все ол райт! И правил безопасности труда не надо. Да и какая это опасность – писать безлично. В случае чего, одно и оправдание: «Да что я! Я – как все». Затерялся в черных сотнях писателей, пишущих под диктовку, – и скрипи себе до второго пришествия, два раза в месяц жирно и прописью ставя свой псевдоним под фамилией, если она не звучна... И беря наличными. «Так сколько ты, брат, сберкнижек написал?» – вопрошает коллега. «Да уж скоро полное собрание сочинений выпускать буду», – отвечает ему без пяти минут классик. У всех послушников – келья. А у этих послушников – дворец. А ума – ну хоть бы легонькая палатка.

Другое дело писать не чернилами. Торопится почерк. Скрипит ему одному понятной азбукой. Ты никогда не видел кардиограмму творческого почерка? – Скачущий нервный озноб письма. Без оглядки назад. Будто все слова стоняют в одну только сторону. Но все одно – царственный, неспешный почерк. Хоть времени – как никому – в обрез. Нет, пожалуй, он все же тороплив. Вот он взлетел на гору. Посмотрел – никого нет. И побежал дальше. Ему бы дойти. Добраться. Доползти до финиша. А какой уж будет этот финиш – не важно. Торопится почерк, с виду неудержим. Но охотник уже идет по следу. Как и следовало ожидать. «Первые читатели».

Взвизг упдающей линии. Снова с Красной строки. Слово скользит в недосказе. Ловит ртом воздух. Что же будет дальше? А дальше, – учуяв неповторимый твой след и всю пастью схватив щекочущий этот запах, отнюдь не чернильный, борзые нагоняют тебя на самой счастливой, на самой бьющей и ошеломляющей странице. «Хеппи-энд». А ты как глухарь, у которого все перекрыто песней – и слух, и зрение. Правда, потом ты аки лев вырываешь ее из лап. Но посмотришь, как родные твои трясутся, – и отдаешь. Полагая, что песня того не стоит, чтобы жизнь их ломать. Вот и получается, что нет в мире песни, за которую и умереть не жалко. Или, в крайнем случае, сесть в тюрьму. Но это только поначалу так кажется. Сам посчитай – сколько поэтов здесь село и умирало даже не сев – стреляли, как бешеных псов. И каких поэтов! Но в момент изъятия рукописи – со скрипом ли, с дракой, но отдаешь.

– И пишешь по новой? – видимо, воскликнул сосед. – Хотя уж тут вряд ли до новых работ.

– Тем более в чужой стол, – поспешил я добавить. – И какой еще чужой! Новая форма писательства – социалистическая – писать в чужой стол.

– Потрясти бы его – сколько творений великих нашли бы, – забил, как обойму в стену, сосед.

– Да нет, дорогой, их в кислоте сжигают, когда не в печах, – просветил я его.

– Какая-то толика, правда, ныне за рубеж попадает. Но это сегодня. А вчера – их песни играли только в одну лузу. А сами авторы – в гроб.

Так что лист бумаги – вот и все мое писательское счастье. И не знаешь, когда оно больше – тогда ли, когда уже испещрен. Или когда еще чист. Ибо тоже удовольствие к нему подступаться. Хотя какая это жизнь – привязанность к чистому листу обыкновенной бумаги. К этому минимуму пространства, куда глядишь замороженно в трепетном предчувствии, что вот-вот в это колеблемое бумажное окошечко и заявится всей своей вселенностью чудо. В отличие от всех чудес – рукотворное. Собственное. Раз и навсегда осмыслившее твою жизнь, будто ищущее

щую свое русло. И потому плывущую по течению в чьем-то потоке. С кормежкой у чьих-то общих корыт, где так ощутимо чувство несвежего локтя и неподстриженного когтя. И когда ты явно не в своей тарелке. А где же – твоя? Да вот она – чистый лист. Отдушина и проклятье. Горечь и сладость. Горе и радость. Бумажное зеркало, где ты наизнанку. И действительно, там начинает тесниться пережитое. И без бинокля видящее наперед. Крича и смеясь сквозь закушенные губы. Замкнутый квадрат. Времени – по какую-то стрелку. Потому и мыслишь афористично. Жил бы, как ворон – триста лет, можно было бы говорить, как все. Вот и получается, что смертность поэтам на пользу – заставляет бессмертно писать. А уж в этом «раю» им сам бог велел торопиться – с их-то как бы запрограммированным самовыражением, не ведающим последствий и плюющим на них с высокой своей колокольни. Какая же это жизнь! Это, брат, уже житие, когда и впрямь над головой восплаляется эхо твоего собственного сгорания. Нимб, того и ждущий, чтобы упасть на шею и стать петлей. Потому что там, где ты привязался, как летчик-высотник, испытатель собственной судьбы (мы еще увидим, как этот лист сработает катапультной), никак не потерпят чьей-либо самостоятельности. Там индивидуальных авторств не признают. Ты еще только чешешь затылок в догадке, а тебя уже волокут на Лобное. Нет, это государство создали шуты, решившие стать серьезными. Более страшной шутки, чем СССР, нам уже не найти под небом. Кто и когда еще расскажет такой Анекдот? Вот только со смеху покатиться куда бы подальше и поскорей.

– Да услышь нас, сирот, Всемогущий Бог, у которых давно умерла мама-родина! – взмолился сосед за стеной.

Богу будет угодно помочь и в этой неслыханной просьбе. Услышит сирот. Правда, не всех. Хотя и сиротой здесь побыть не получится. Слишком уж внимательно тебя опекают. Тем более если так старательно уничтожили твоих родителей. И прародителей, если те успели подгадать к этому строю.

Однажды во время бомбежки какой-то ребенок попросил свою мать: «Мама, давай уедем туда, где неба нету!» – «Да всюду оно, мой мальчик». И ему расхотелось жить, – соседу говорю между прочим. И дальше скачу на своем коньке.

Нет, не к добру эта пагубная привычка контрабандного переноса своих замыслов на бумагу. Этих гашишей, чтоб словить кайф. Не к добру, – думал он уже сам по себе. На время забыв о соселе. Рано или поздно, а подошьют ее к Делу. Лучше, конечно, поздно, – тщетно думал он или мечтал. – Хотя они шьют свои дела куда резвее, чем я пишу. Правда, слово «пишу» тут несколько не точно. Но, как говорится, лиха беда начало. По мере успешности моего предприятия и будут видны результаты. Это тоже своего рода барометр – за тобою бдящая власть, – как мог, успокаивал он себя. Еще вчера относительно не стесненный в движениях. Когда считал, что дружба – понятие круглосуточное, и звонил-называл по ночам. И донельзя знакомым голосом что-то говорил вдохновенно вскочившим спросонья. Пробуждая их в полном смысле этого слова. И шел себе дальше по ночному городу с распахнутыми настежь будками телефонов-автоматов. Шел, опустив голову, будто разглядывал тень свою под ногами. Не слышно бьющуюся лицом о мостовую. И явно не собираясь ее поднимать. И тогда его тень убежала в темь непроглядную. И он оставался один. Но стоило ему оглянуться, как за ним по пятам уже следовали остальные его тени. Менее рослые, но куда настырнее первой. Вперед забегающей. Так и лезущей поперек его – и куда?! Видимо, в отличие от всех живых и невредимых, ему в спину светило по несколько солнц или лун. Не иначе. Даже в ненастье оглядываясь, видел – идут. А потом и оглядываться перестал. Постепенно привыкнув. Здесь – у самих себя победивших – каждый гуляющий сам по себе рано или поздно воскликнет: «Вот и у меня вырос хвост непобранный!» И попытается дверью его защемить. Но выйдет из дому, и снова за ним он виляет. Нет, здесь люди хвостаты. Тем более настоящие. Да он и из дома выходит, чтобы не лезли домой. Так-то – куда спокойней. Хотя все относительно. Будто гово-

рят – «Твори, пока трамваи ходят!» (звучит как «воруй»). Но в том-то и смысл – что ничего не говорят.

Шел он пока безмянный, но вот стерегут. Значит, предчувствуют имя. Неотлучно следят, чтоб никуда от признания не делся. Чтобы был под рукой, если что. «Давай-давай!» – подгоняют. Пока молча. «Это пока. Будет со временем и тебе кабинет, где окошко не ведает неба. Так блатарем сквозь зубы цедит его. Это для контраста – чтоб зажмурилась от яркого света твоя душа. После черных бетонов тюрьмы, в момент, когда ей к Богу настанет час отправляться. А пока – ходи! Работа, она веселей на ногах. Тем более с почетным эскортом. Висящим у тебя на хвосте...»

Хорошо, слава богу, что мы голову мыслим. Вот если б сидели на ней?!

Конечно, на всяческих ложах приятней писать, – рассуждал он, – как, впрочем, за всяческим столом застольничать. Столы, они больше для яств и цветов и догадливых секретарш молодых, понимающих с полуслова не только диктовку. И чему уж тут больше отдать предпочтенье – работе какой? Но сейчас, как мы видим, ему и тем и другим заниматься явно мешали. Сейчас он аскетом стругает мотив, поистине не вовремя начавшейся песни. Поистине не к месту запевшей в нем. Справедливо полагая, что она лебединая. Ибо здесь у поэтов тоже птичьи права. С той лишь разницей, что никаких перелетов. Хочешь не хочешь, а на месте холодном зимуй! И, как поется на всех госконцертах: «Не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна!» В одном ее спевшие правы – поэт, как любой настоящий художник, еще до космонавта видел все это сверху – живот в португелях широт и меридианов (тот самый, который человечество обхохочет, глядя на нас) – поверх которого малюсенькая, едва ли не усыхающая, головка смысла.

Э, если бы мы выглядывали прежде, чем родиться! Но не бомбардировщики нас рожают, а беспомощные матери. Одно и успокаивает – настоящее наше, в отличие от нас самих, родится в счастливой сорочке (к слову о дуализме – она и есть форма), когда сотворенное настолько удачно, что оно уже в завтрашнем дне. Хотя за него нас нещадно бьют сегодня. «Отчего же нас бьют сегодня?» – спросим, отвлекшись, и почешем затылок, как стрельцы на Лобном месте. Почешем затылок, а там уж топор. И место совсем не Лобное, а напротив – Заднее.

Жемчужина – боль устрицы. Но та хоть работает за створками своей раковины. Мы ж – в эмпириях, где бьют нас, как птицу влет. Или в замках воздушных, которые взорвать ничего не стоит, как, впрочем, и каменные. «И заперся он в башню из слоновой кости...» Да из собственной кости башня его – сам он и есть обиталище всех своих катаклизмов, что, в мир вырываясь, становятся песней.

Где-то дом – моя крепость... Вы не пробовали, коллеги мои потусторонние, обдумывать свои произведения прямо на улице? И там же писать их с идущими по пятам читателями – еще не написанного, отводя их подальше от места, где уже написанное лежит – эдакие хрупкие листочки, которые когда еще станут (если станут) достоянием гласности. По пути спасительные телефоны-автоматы – две копейки – и весь разговор. Зашел – продиктовал. Пошел дальше. Отчеканил кусок, дымящийся на холоде. Опустил монету – и вот он в надежном месте (да где в этом гиблом месте – надежные места?). Писатель-сороход – километр-абзац. Художник – огранщик камня... на сердце. По мере залегания и драгоценного. Грани в границах дозволенных! Но когда ж это творчество было дозволенным? Нет, есть все основания назвать его песню лебединой. То есть последней.

Попробуйте, коллеги, вот так попасть свой взгляд. Вот так попребывать свой ум. И не будет ваш ум ни разу бюллетень, привыкший к свежему воздуху. Может, поэтому и здоров, как бык, ненавидящий красное, – чихавший на все опасности ум. Хуже, куда хуже работать в камере спертых тюрем. В духоте спрессованного человечества с немывтыми пятками. И, боже мой, как же тяжело сидеть, когда и голова твоя что гулкая камера. И в ней почище тебя заключенный сидит – твоя лучшая книга.

... Вызревает потихоньку мелодия, забирая память в свой проворот. Со всем, что до срока держала. Что это – попытка наперед увидеть начало неведомого? И может быть, даже прекрасного. Отчего-то всегда сокрытого за горами пространства и времени. И еще такого дисгармоничного, как наше. Так и не узнавшего, на что же оно наконец отпущено и кому в первую очередь.

Имеющий время да задумается. А если еще и повезет, то и сам разберется в подарке. Уже в самом названии, несущем скоротечность. Успеть – не успеть? – вот что нас первым волнует. В то время как на не менее важный вопрос – «зачем?» – времени уже не остается.

Но движет, движет инстинкт, не берущий в расчет никакие вопросы. Будто птица летит, не сгибая привычный свой путь. Когда уже есть покороче дорога. И лезет, как дура, под выстрел. И какое уж тут бессмертие – одни только критики и знают. А может, бессмертие – это уход без оглядки вот в такой перекрут вот такого труда. Целиком без остатка. Когда и хоронить потом нечего. И кладбище (ну, иди сюда, клад, сокровище) – остается на бобах. То есть при своих.

Ну, и где твое бессмертие?

«Прячу, – ответил. – Пишу и прячу. Видишь – идут по пятам».

Краденое, что ли, что вором крадучись. Да мыслимо ли песню сокрыть! Она и лежа себя выдаст. «Мы пишем по-белому, а жизнь – черновик. Но как же ярко тогда проступают строки! И что же, мне, их отдать – окунуть их в поганую речку Забвенья, что течет под Лубянской?! Миг один – и будто никогда ничего не писал. Не касался пером до Жар-птицы, прилетевшей однажды к тебе, дураку... Хрен им в зубы! Пускай пожуют коллективом. А я пошаманю еще».

И как же хватает писать без оглядки. Вот так – на ходу? Откуда черпает?

Не будем задавать дебильских вопросов. Понятно – из себя. Вот где он находит слова не искусственной свежести и огранки, ничего общего не имеющие с продукцией кустарей – не одиночек, толпами трущихся задом о письменный стул и вот таким невеселым способом добывающих слово истинное и неповторимое? Где он находит слова первозданные в мире, где легче найти девственницу во всемирном профсоюзе проституток, нежели незаезженное слово? Ведь в отличие от своих собратьев, почесывающих себя пером и рьяных помощников наступить на горло не собственной песне, он даже поэтом себя не считал, пока в приговоре суда отпечатанным слово «поэт» не увидел. Никаких подтверждений легальных, кроме нелегального внутреннего «я». Никаких доказательств, что житель Парнаса. Разве что на земле без прописки и права писать. Нету книг напечатанных, а признание есть. Как же это понять? – вскинет бровью читатель. Родина знает своих подлецов и поэтов. Даже если они и ни строчки своей не сказали. Вот и ищет. Шурует. Шмоняет, и ноздри – до плеч. Между прочим, русские борзые – лучшие в мире собаки. Нелегальный внутренний голос... А уж где лежит он, мы пока вам не скажем. Лишь намекнем – у надежных людей, которых так мало, так мало... Как хороших поэтов.

... Шел человек и мычал, как абзац, что как челюсть, еще не проросший зубами. Ничего – улыбнется. И зубы покажет.

Пьем, пьем, и по миру некогда сходить. Не с кружкой для монет, а с душой для впечатлений... А отчего пьем? Текучка заедает, – жалуется наш брат. – А отчего заедает? – Однодневки кропаем, талант размениваем, на хлеб с маслом норовим заработать... Да на чаевые нашему швейцару. Приезжаю как-то к приятелю, смотрю – рядом с его хоромами дачка – пальчики оближешь! Пригляделся поближе, смотрю – стоит швейцар наш цэдээловский. Откуда, говорю, у тебя, дружок, такая дача? Да на ваши чаевые, отвечает. На ваши гонорарные... Вы люди с гонором, а я человек простой – мне бы чего-нибудь попроще. А сам такую модернягу отгрохал, что закачаешься!

Нет, хватит вычесывать череп, выгребать золотишко. Пора написать навсегдашечку! Пора словить кайф!.. «Пора, брат, пора!..»

Ну уж кукиш по локоть! – Не воскреснут бунтари, попросившие пощады.

«Хлеба и зрелищ!»

Но сначала хлеба. Потому что именно из-за хлеба возникают невиданные зрелища.

Русь! Вся твоя история – сплошная и нескончаемая хлебная очередь, вечно обрастающая голодным людом. Не раз вздымались в небо огненные петухи – излишек темперамента. Не раз хлопали выстрелы – хлопучки человеческого терпения. Но бывает, что хлеб становится зрелищем. И тогда он чреват революцией.

Хлеб родил ее у нас в семнадцатом. С бабьего роптания у хлебных лабазов.

Не откажись тогда ротмистр Кирпичников стрелять по взбунтовавшимся бабам и не побратайся с ними вызванная солдатня – мир наш выглядел бы по-другому.

«Хлеба и зрелищ!»

Колизей любопытства... Цирковые искусства. Где первыми клоунами были гладиаторы. Они смешили толпу нелепостью своей смерти. Их гримасы на много веков пережили их самих. Эти гримасы дали миру лицедейство.

Но это еще не театр. Настоящий – он случится позже. Когда разыгранная на полпланеты бойня будет называться «театром военных действий». Со своими режиссерами, с генеральными, вернее, генеральскими репетициями, миллионами актеров, массовой, где участвует почти все забрызганное кровью человечество.

Игра не на жизнь, а на смерть. Целые народы, из поколения в поколение, играли – не наигрываясь. И падали с тайной надеждой подняться и снова играть.

Бутафоры не успевали менять декорации. Костюмеры – одеяния. Гримеры – гримировать под полюбившихся героев.

Лишь придворные суфлеры, «инженеры душ человеческих», успевали вовремя подсказывать... свои провокаторские реплики.

Вымарывались ремарки. Вставлялись новые. Сообразно времени. Переносились акценты. И ставились ударения. Благо было куда ударить!

При невероятной смертности своих героев – этот театр бессмертен. Потому что конца пьесы и поныне не видно.

Длится действие – лицедейство. С антрактами кратковременных передышек. В которых женщины едва успевают зачать новые армии игрового мяса.

Этот театр без зрителя. Для самих себя.

А может быть, с небесной галерки глядят на нас иксы, нам неведомые, и думают: «Вот развлекаются! Вот развлекают! Нет, что ни говори, а земляне – самые зрелищные существа во Вселенной!..»

Художник не в состоянии остановить действие.

«Остановись, мгновенье!» – этот лирический возглас ныне отдает ядерным взрывом. Именно одного мгновенья достаточно, чтобы остановить жизнь на земле. Этой вечно крутящейся сцене, монотонно чередующей свои театральные сезоны.

Остается надеяться на парадокс – чем смертоноснее оружие, чем глобальнее оно, тем меньше его перспектива на международных игрищах со смертью. Кому захочется испытать его на себе! Разве что вовремя убежать на другую планету. И это исключено – тут за границу своей области проблема вырваться!

Не остановить, а запечатлеть мгновенье – вот мечта художника в наш рациональнейший век, крохоборски подсчитывающий свои шансы. Работяга и приспособленец. Ничтожество и Бог. Выкручивающий душу и тело в неостановимом поиске хоть одного удачного кадра.

Ныне творчество – это съемка на бегу. Под шквальным огнем.

Нужен рост, чтобы увидеть.

Нужен глаз, чтобы ухватить. Нужен смертельный риск!

«Зачем этому миру дети мечтателей?» – спросил Олеша в рассказе «Вишневая косточка».

Он ждал ареста. Тогда все его ждали.

Раздобыл где-то жести лист. Выложил на него свои кровные рукописи и... поджег.

Повалил дым, будя заспанных пожарных. Но не блестящие каски уже рвались в его дверь.

Когда вошли, то увидели человека в трусах. Пляшущего вокруг костра. И приговаривающего одну-единственную фразу: «Я – первобытный человек!.. Я – первобытный человек!!!» Они вернулись на Лубянку без него.

ЦДЛ... Здесь он не пил. («В ЦДЛ? Да никогда!») Тогда он пил в «Национале». Мимо которого идут ходоки к мертвому Ильичу, отчаявшись пробиться к Ильичу живому.

Центральная улица столицы – бывшая Тверская, ныне Горького. Когда хижины объявили войну дворцам – сюда по горячке и поселились окраины. Но не долго здесь жили. Началась реконструкция Москвы, и опять их задвинули куда подальше. Здесь быстро решают – кому где жить.

Всю жизнь не толстяк. Не любивший пирожные «эклер», считая их гробиками с кремом. «В России, – утверждал он, – умереть с голоду невозможно. Надо ходить по базарам и пробовать. Правда, торговки прижимисты, но их следует позабавить... А что делать? Ведь нельзя бродяжить, как Горький».

Скобарихи долго гадали – кто этот чудак? Вроде не вор и вроде не попрошайка. Какая-то смекнула – чокнутый книжник!

Не дальше торговых судили о нем и на радио, куда он однажды принес свою сказку. Редактируя птичьи диалоги, редактор сказал ему, что его удивляет реплика воробья.

– А то, что птицы вообще разговаривают, вас не удивляет? – спросил Олеша.

Получил Юрий Карлович вдруг гонорар за книгу. Может, впервые в жизни обретя немелкие деньги. Встал он посреди Тверского бульвара и начал раздавать червонцы.

Люди шарахались от него. Недоумевали.

– Иди сюда, – кричал он кому-то, – не бойся! Я – не фальшивомонетчик! Я – Олеша... А, не знаешь... Ну, тогда ступай!..

Он роздал все. До единой копейки. Домой он шел счастливым. Вместе с женой – своей Суок, едва разыскавшей его. Да-да, той самой Суок, что была из сказки.

На Лаврушенском во дворе, где он жил, его видели копошащимся в мусорных баках. Вот он достал пару старых, кем-то выброшенных ботинок. Снял свои и примерил «новые».

– Как вы думаете, – спрашивал Пастернака Сталин, – Олеша не продается? (Про Мандельштама он тоже его спрашивал.)

Малонаходчивый Борис Леонидович пробормотал: не знаю.

Вождь любил советоваться по ночам. Вскоре телефонный звонок разбудил Фадеева.

– Вот Олеша совсем опустился. Как – не продается?

– Да нет! Что вы, товарищ Сталин!

– Значит, вы ручаетесь?

– Да...

– Раньше писатели пили от безнадеги, а почему они пьют теперь?

– От радости! – вскрикнул Фадеев.

Великие творили натошак.

По соседству с Олешей жил Булгаков. Там же, на Лаврушенском. В этом скопище имен и одинаковых кабинетов.

Дом возвышался, как Олимп. Писательский дом № 17, где углем на стене: «От бутылок до Бутырок – один шаг!»

Здесь жили боги. Которым молились. Туда же подселяли и совсем иных идолов, чьи имена вызывали совершенно другой трепет. И тем не менее их селили рядом с Булгаковым, Олешей, Пастернаком – а вдруг научатся писать свои однодневки так же лихо, как эти пишут на века. Чем черт не шутит!

Коллеги по дому и соседи по литературе... Лилипуты... На сколько бронзовых голов они вознамерились быть выше?

Рядом текла Москва-река, сжатая набережными. Поблескивал гранит берегов, вздумавший увековечить вечное движение.

«Вы бы видели Булгакова, как он был счастлив! – рассказывал Юрий Карлович. – Голодный, без надежды и завтра быть сытым. Изящный, даже в подвязанных на носки галошах, он хохотал глазами... И было отчего. Бренная оболочка нищеты – это ею пытаются унижить бессмертную душу?!»

Лишь позже я узнал, что он закончил „Мастера и Маргариту“».

Когда после войны Олеша возвратился из эвакуации в Москву, квартира его была занята. Ему посоветовали написать в Моссовет. Ведь должны же возвратить! Но он не стал просить. Считая, что, когда он получал ее, – в то время он был писателем. А сейчас... Кто он сейчас?

До самой смерти он ютился у своего бывшего соседа и настоящего друга Эммануила Казакевича.

Мертвые сраму не имут, когда тут считает свои каждодневные тридцать сребреников вся долматовская ошань – красносотенцы, спутавшие Великую Русскую Литературу с отхожим местом.

Толчок... в литературу. Вот они сидят орлы – в орлиных позах на своем коллективном толчке. И покрывают ее, когда-то великую, хором. Только самые рассеянные забывают при этом снять штаны.

Вечновчерашняя трусость. Оголтелая злоба ко всему талантливому. Воинствующая бездарность.

Гадюшник!

Открыть бы здесь Донорский Пункт Змеинового Яда.

Булгаков когда-то хотел взорвать ЦДЛ. Эту мечту-эстафету пока еще не подхватили. Динамит дороговат. К тому же заметно одряхлели члены Союза писателей.

Вот и выходит на поверку, что из всех осязаемых потребностей есть одна лишь потребность – Слова.

Сначала мычание музыки. Потом глухонемые знаки живописи. И, наконец... все выразившее и вобравшее, ярким громом грянувшее – Слово.

И слава богу, что этим даром наделены немногие. А то бы стоял в мире невообразимый шум. Как в ЦДЛ.

Буханка хлеба идейного – микрофон.

Ломоть брызгающих слюной обещаний...

Пугало на нескончаемом поле хлеба духовного – пропаганды. Пугало – напротив, зазывающее ворон.

Извечные вопросы русской нации: «Что делать?», «Кто виноват?», «Кому на Руси жить хорошо?»... без традиционного – «Быть или не быть?» – разве прижился бы в России Гамлет?

Маркс был серьезен.

Ленин уже улыбался. Даже подмигивал.

Сталин – смеялся... Если бы он сбрил усы – мы бы увидели этот страшный, тихий, без раскатов и обнажения гортани – смех.

Смех – смесь взрывчатая.

Коктейль низменных, утрамбованных в утробе инстинктов.

Раз по пьянке вождь всех времен и народов попросил Ираклия Андроникова – лермонтоведа и пародиста-самоучку – *панэродироватъ* немного. И в частности, показать его – величайшего – попросту, без нимба и лавра. В домашней, так сказать, обстановке. Приближенные уже приготовились посмеяться... И даже Берия встал на всякий случай.

– *Не смэю!* – промолвил Андроников, тоже с грузинским акцентом.

А почему, собственно, и не посметь? Нет, у нас даже хороший писатель далек от этой мысли. Мыслимо ли, говорит он, – смеяться над ними. Да еще талантливо? Что мне, жить надоело?

А действительно, как ему не надоело так жить?

Известный конферансье Алексеев однажды, ведя концерт в Кремле и видя необычных зрителей, воскликнул:

– Как приятно выступать против... правительства!..

Улыбнулся Сталин. Потом засмеялся. Тихо, чуть подрагивая позолоченными плечами. Запоздало прыснули приближенные.

Юмор не умер! Но где же вы – юмористы?

Булгакову не провели телефона. И со Сталиным он разговаривал прямо на улице... из телефона-автомата (просто из автомата говорить с вождем почему-то никто не додумался). В стекло кабины стучали монеткой. Дергали дверцу. Как всегда поторапливали... «Да не мешайте вы, черт подери! Я говорю с товарищем Сталиным». «И как же не стыдно вам так шутить!» – сказал ему кто-то из очереди. В иные времена на костер бы отправили утверждавшего, что он *разговаривал* с самим Богом.

Страшная страна, если Мастер, написавший «Маргариту» (так вначале назывался знаменитый его роман), пишет верноподданнический «Батум». Верноподданнический настолько, что даже привыкший к славословиям Сталин и тот засмутился и запретил эту пьесу.

Многометровый кабинет. В углу, далеко от окон, сидит маленький человек...

«Оставь надежду, всяк сюда входящий!»

Немногие доходили до массивного сталинского стола. Вокруг которого не валялись кости обглоданных народов. И не висели гирлянды повешенных. И не курились костры принесенных в жертву его мнительности людей.

«Жизнь прожить – не поле перейти!» – говорят в народе.

Люди, проходившие не одно поле минное или просто простреливаемое кинжальным огнем, падали от нервных перегрузок. Едва дойдя до половины этого кабинета. Деятели литературы и искусства прямиком летели в обморок. Теряли в весе или, напротив, прибавляли, вдруг ощутив неудобство пролившейся фигуры.

«Слишком нервные люди пошли!» – удивлялся он.

Слишком нервные. А ведь когда-то не робкого десятка был российский народ.

Рассказывают, что на одном собрании Сталин сказал: «Я готов отдать делу рабочего класса всю свою кровь, каплю за каплей...»

Он получил записку: «Зачем же тянуть да чикаться, давай уж всю сразу».

Может, эта записка и подвигла его сразу пролить столько крови. Чужой, разумеется!

Щербатое лицо. Будто стена в расстрельных оспинах... Глухая стена.

Первый пэр Англии, грузный Уинстон Черчилль и тот вскакивал при появлении кратко объявленного Сталина. Всквакивал, заранее желая усидеть. Загадочная пружина подбрасывала великана вверх. Что это – гипнотизм всех и всего боящегося человечка?

Парадокс – мы дышим полно, когда нас держат за глотку. Честный писатель здесь пишет, облокотись на Лобное место. Приспособив палаческую плаху под письменный стол. Чем опасней – тем прекрасней. Истинно мужское занятие. Полная свобода – и писатель задохнется в

ней, как муха в вентиляторе. Полная свобода... Да он прежде всего не поверит в нее. Это слишком безбрежно и немислимо. Абстрактно! Другое дело – свобода в себе. Свое крепостное, но право касаться пером сокровенного, взрывчатого, истинного, сокрытого за семью печатями в глубине людского невежества. Дар, он третий глаз посреди слепоты. Что сулит этот поиск? Быть может, ничего хорошего. Ни о какой другой свободе он и не помышляет, пока не кончит писать свою Книгу. Ему нужно сопротивление, когда он пишет. Но не тогда, когда уже написал.

Писательство и без того трудное ремесло, чтобы потом за него еще расплачиваться оставшейся кровью.

Написав о пылкой любви, он едва ли остается сам к любви способным. Написав страдальца из страдальцев – весел будет он, как никогда. Старо как мир – мы умираем в своих героях. Если они бессмертны. Оставляя в них свое лучшее, едва ли мы возрождаемся каждый раз. Но умирать за своих героев и не геройской смертью – это не лучшая награда за подвижничество писателей – слишком смертных людей.

Что-то все подались в Каракумы. И Платонов. И Булгаков. И Олеша... Партия бросила клич разводить там баранов. А при чем здесь писатели? А при том, что пусть уж лучше они стригут шерсть, чем с них самих снимать будут шкуру. А с другой стороны, под нещадным солнцем сталинской конституции вся страна скоро станет пустыней.

Длинный перечень моих грехов мне неведом. Он хранится в моем личном деле. О своих грехах я могу только догадываться. В деле также присутствуют наброски моего внутреннего «я» – попытка портрета или портрет. О себе же я еще не имею законченного представления. Графологи, имея в виду мой творческий почерк, знают все мои недостатки и достоинства. Мне бы вникнуть в мой собственный почерк. И хоть бы кто мне сказал слово истинное. Там оно – там, вдали от меня. За семью печатями от меня сокрыто все, что мне надлежит знать о себе самом. В первую очередь. Кроме номера моей машинки пишущей – единственно, что я знаю, – там столько наблюдений, замечаний, характеристик, даже описание моей походки. Нужные встречи и ненужные. Полезные и вредные – откуда мне знать? А там – знают. Нет чтоб написать сразу мне – обо мне. Нет чтоб прямо в лицо мне высказать, а не строчить мимо меня доносы, предупреждения, анонимки, намеки, сигналы, мнения особые и не особые, оценки, характеристики, отзывы, наблюдения. Но все, чьего внимания я удостоился, ни словом мне не обмолвились обо мне же самом. Видимо, заранее исключая мою признательность и благодарность. А сколько оброненного они подобрали! И конечно же не подобрали – слова, сказанные в относительном одиночестве. Признания, о которых уже забыл, а они там. Пристрастия и неприязнь... Все там. Все, что должно быть тут – во мне, у меня, при мне, – там. Мои потенции и слабости. Восторги и отвращения. Анализы

и заключения. Рентген-снимки. Боль и удовольствие. Цифра дальности моего глаза. Степень прочности моих зубов. Детство. Юность. Молодость. Зрелость... Там – анфас и в профиль. Все, что я значу. Все, что я вешу. Все, в чем я силен и слаб... Нет, там обо мне знают куда больше, чем я сам о себе. И если случится встреча (настоящая, а не те примерки, что сейчас) – мастера допроса уже вполне могут закатать рукава. Иначе зачем вся эта скрупулезная подшивка? Разве она не создана для того, чтобы встреча была долгожданной? А знакомство – не шапочным? Когда надо, я появлюсь, что называется, гол. И на теле моем проступят нужные им кнопки. Распахнута папка, а там прищиплена моя собственная тень.

– Гляньте-ка на себя нашими глазами! Где вы найдете еще такое зеркало? Повернитесь налево! Где силуэт? Направо – тоже не видно. Вся ваша жизнь поймана в эту папку. Весь вы тут. А напротив стоит оболочка ваша. И как заправский дирижер – в клавиры, допросных дел мастер глянет в папку. И как заправский дирижер, взмахнет рукой. И допрос зазвучит, как по нотам. Оказывается, как я прост. А я-то думал. Встреча... ее предвкушают. Ей радуются

и не сидят сложа руки. Встреча... она готовится исподволь. Ее предваряют, боясь вспугнуть преждевременно. Куда спешить? Даже если видоизменишься – вот он ты!

Задолго до встречи случаются маленькие встречи. Несколько мимолетных встречек. Незначай. Как там, например, в ЦДЛ, откуда и куда я был отпущен. Встречки, они как стрелки морщин от улыбки. Задолго до оскала встречи. Сколько надо набегать секундной стрелке, чтобы наступил час!

Творческие замыслы – под них предлагают командировки (кстати, заключение – тоже называется командировкой. Но это к слову). Замыслы, помыслы, вымыслы, промыслы... Берут и выясняют. В том-то и дело, в том-то и фокус – не берут, а выясняют.

«Над чем работаете?» – если не самая любимая, то самая частая фраза в писательском клубе – в этом уютном флигельке Госбезопасности. Прозорливцы, им надо все знать наперед.

«Что вы думаете по тому или иному вопросу? Поводу? Случаю? Ваше мнение?»

«Ваша точка зрения?...» «Ваши позиции?...»

Союз мертвых душ. Они давно на столе и под лупой. Полумертвые – еще слоняются по вестибюлю, но уже на пути на операционный этот стол. Живые... Их перечесать по пальцам можно, и они пугливы, как веки. Говоря о позиции того или иного, трудно в душу залезаемого, просто хочется им спросить покороче: «А ну, покажи свой окопчик! Что уж тут ходить вокруг да около. Все равно накроем!»

«Пора бы обсудить вас». «Пора бы почитать вам свое последнее...» Так младенцу в яслях и в детсаду замеряют рост – нормально ли развивается малыш? «Вы не участвуете в общественной жизни Союза!» А разве я заключал с вами союз? Будучи пионером, я не давал клятвы быть похожим на Павлика Морозова. Комсомольцем я не гарантировал, что буду походить на Павку Корчагина. А ныне, пребывая в беспартийных, мне вообще не хочется ни на кого походить. Разве что походить по белу свету. Вы уж сами боритесь за новый тип советского читателя (он и так тип подозрительный). Человек будущего меня вполне устраивает таким, каким он будет. Если будет. Лишь бы не совал нос из-за плеча, когда пишется. Да и планы мои намного скромнее трибунных и глобальных, но я и не лезу в закройщики нового мира.

Все это, разумеется, было высказано в академической форме.

«Резкость суждений – значит, может дать в морду. Если может – значит, хулиган» (в дурдомах ставят диагнозы куда резвее – «Ясность мышления – значит, дурак»). Это, видимо, первая строчка в моей истории болезни под кодовым названием «Личное Дело».

Темперамент – исходя из него лепят там твой образ. Кого куда определить в крайнем случае? Тихоню можно и в тюрьму. Буйного – сам бог велел в Дом сумасшедших. Но до этого еще далеко, хотя все тут под боком. Сначала надо сделать так, чтоб поверили. И не соотечественники – плевать на них! А свободные обыватели. Эта забота появилась относительно недавно. Вчера бы хохотали, если предсказать такое внимание к ним.

Провокация – старый, испытанный способ. Если наш брат попадает в тюрьму без ярлыка – он сразу становится мучеником. В отличие от дурдома, где якобы лечат, – здесь, мягко говоря, уже поставили на человеке крест. Тоже своего рода диагноз.

А где воспитательная работа? Куда смотрел Союз? И Союз смотрит в оба, штампуя ярлыки и провоцируя на случай таких обвинений. Если не хватает собственных сил – обращается за помощью в Главное здание. Там – доки по части помочь («Что вы суете чистый бланк?») И появляется выговор с занесением в личное дело. Это уже что-то).

Мне показалось, что меня оставили в покое. Выговорами я был не обижен. Редкие звонки – «Над чем работаете?». Еще реже – вызовы-телеграммы, приглашающие на бесплатные выступления в Фонд мира... Раз неизвестно, над чем работаю, – какие уж тут выступления. Еще не хватало, чтоб читал поверх унюхивающих голов. Да еще не литованное. На субботники и воскресники. На семинары... Также отчаялись звать. «Учение об этносе» и «белые пятна истории». А также вопросы войны и мира в свете марксистско-ленинского учения – миновали

меня сразу же, как «неохватываемого». Голоса изаковых, бориных, зисей – были далеко за моими стенами. До меня не долетала критика «основных направлений современной буржуазной эстетики». Так же, как и анализы, мазки и пробоваания этой самой эстетики на зуб, на слух и на глаз...

Столькорукий Шива – тебя бы в наш Союз писателей – столько рук для голосования! Если глянуть на это сборище – всю жизнь сидят с поднятыми руками. А когда пишут на века? Год не был в клубе. Зашел – сидят все в той же позе. Все в том же положении. Тянут руки вверх, будто кто-то еще сомневается, что сдаются, капитулируют – и так, чтоб позаметней было. Зашел – и опять случилась маленькая встреча.

Секретарь по оргвопросам, бывший генерал-чекист – старый волк под овечьей шкурой дубленки (зимняя парадная форма совписа). Другой секретарь – с безбородым лицом скопца (здесь многие вообще не бреют свои бабьи лица).

И некто. Но не тот, что был раньше. Пришлый, хотя у нас своих навалом. Взять ли замзава инкомиссии Совписа СССР капитана КГБ В. Шесткина или просто секретаршу в Литфонде лейтенанта Мери. Всего ГБ лейтенанта, хотя и под полковником – Юрием Ворониным, бывшим резидентом нашей разведки в Англии. А ныне (говоря их терминологией) – на отстое – директором Литфонда СССР.

– Мы слышали – о декабристах писать собираетесь? Почетная тема... – начал нетерпеливый скопец, мокро улыбаясь.

«Не так почетная, как непостижимая – горстка, изменить Россию вздумавшая», – подумал я, а вслух поддакнул:

– Да, собираюсь.

(Вроде на письменном столе своем я их не видел – откуда они знают о моих замыслах? Вроде нигде о них не распространялся. Разве что в библиотеку заглядывал.)

(Вы не представляете, как трудно работать, – смотрел на меня чекист-генерал. – Это раньше стукач был выше предрассудка, который в молве безнаказанно пятнал именем доносчика жертвующих собой и преданнейших правительству лиц. Что бы без них правительство делало? Теперь он не патриот, а скорей из страха пошел подслушивать близких друзей. Без убеждений он ныне – самодетельный и невежественный шпик.)

(А профессионалы? – также помалкивал я.)

(Есть, конечно, и профессионалы. Но они боятся, что скоро доносить будет некому. Сопьются вконец. И те, на кого доносят. И те, кому доносят. Плачут профессионалы. Боятся умереть с голоду. Ведь другого ничего делать не могут и не умеют, а к высокой зарплате привыкли! Тебя бы в их шкуру.)

(Не приведи бог.)

(Да скажи о любом человеке, что он стукач, каким бы кристально порядочным он ни был, – поверят. Вот тебе примитивный способ угробить хорошего человека. Беззаветно любящие его – станут сторониться. И вроде не верится, а черт его знает! Время какое.)

(Да не время – страна! – кричу я ему тоже мысленно.)

(Мне кажется, что и ты, брат, оттого ершист, чтобы и о тебе не думали: «А вдруг он того! Я знал хороших парней, покончивших с собой оттого, что не выдержали подозрений».)

– Вы, конечно, знаете, что говорил Владимир Ильич: «Декабристы разбудили Герцена...», – продолжал скопец.

(Он с этой фразой спит в Мавзолее.)

– ...Я продолжу свою мысль, если не возражаете...

(Не надо. Когда это ты свои мысли имел, дядя? Сейчас пойдет политграмма. Но на этом будеж не окончился. Кто-то проснулся еще, еще и еще. Но Россия спала и видела свои отсталые сны, пока какая-то сволочь не разбудила Ленина.) А вслух расплылся – весь внимание! И точно,

как по нотам, повел он свой дискантом заостряющийся голос в дебри российской истории. Пришлось прервать:

– Вам и перо в... руки – такое знание материала!

– Да, кстати, у вас не было трудностей в сборе сведений о декабристах? – спросил бывший генерал-чекист. И откинулся в кресле. Отчего сверла глаз его как бы отодвинулись. Как Бенкендорф излагать изволит – Сведений. Наверно, думает, что попрошу пропусков гору в закрытые подземелья старых тайн.

– Я объехал всю их бывшую каторгу, и души их были рядом.

– Насколько мне помнится, вы – поэт. И доселе исторической темой не интересовались.

Почему вас потянуло в этот трудный и очень ответственный жанр?

– И почему – декабристы? – как всегда, поддержал генерала в отставке скопец.

– Ну, во-первых, мне надоело читать прозу без поэзии. И я решил для себя написать сам. Во-вторых, мне было любопытно – почему до декабристов на Руси четвертовали, а их – повесили и осибирили? Прогресс! А тема прогресса – моя тема.

– Вы, конечно, хотите напечатать свою будущую книгу у нас? – ни с того ни с сего спросил некто. Обычно они не разговаривают. (Вот идиот, прямо в лоб катит! Дипломат.)

– А что, у вас уже есть свое издательство?

– Я имею в виду одно из советских, столичных издательств, – пояснил некто.

– Эта тема сугубо отечественная и едва ли, кроме России, будет интересна где-либо. Да и кто же откажется от соблазна напечататься у себя дома? Последние несколько лет мне не слишком везло – ни одна столичная книгопечатня не удостоила меня такой чести. Будто пишу не на родном русском, а на зимбабве и еще при этом танцую непонятный ритуальный танец. И вот-вот начну снимать скальп с усушенных от забот голов редакторских.

– Будем надеяться, что на сей раз вам удастся им понравиться.

– Будем. Хотя я мало в чем изменился. И моей рукой по-прежнему никто не водит. В этом трудном деле я пытаюсь разобраться сам. Ведь нам еще не вживили в мозг электроды.

– Мы бы вам помогли разобраться, если бы вы не пренебрегали советами старших товарищей, – сел на своего конька генерал – писательский маршал, ибо от него тут все и зависит, – а то на секции своей не появляетесь, – распаялся он понемногу, – в обсуждении книг своих коллег не участвуете, семинары не посещаете, на открытые партсобрания не ходите. Совсем оторвались от коллектива. Случись что с вами, вы – одиночка. И вам некому помочь.

– А что, собственно, со мной может случиться?

– Да мало ли что, – дал время себе подумать бывший генерал и настоящий чекист. И за всех нас хлопотун. (Да, когда все примутся за одного, я этому одному не позавидую, – кстати подумалось мне. – К общему письменному столу приглашаете.)

– А один в поле не воин, – подвернулся под руку генерала-вдохновителя московских писателей некто. – Да и потом, страх одиночества превращает художника в конформиста. Он ничего путного не напишет.

Смотря какое поле. И смотря кто воюет, – подумал я (один в поле воет, когда он не один, а вот в таком коллективе), а вслух уточнил:

– Вы хотите сказать – попутного ничего не напишет?

– Я хочу сказать, – сказал он, заметно раздражаясь, – что художник остается во вчерашнем дне. И рассчитывает каждый свой шаг. Ему не до творчества.

Если бы я остался во вчерашнем дне – я бы с вами вряд ли сейчас беседовал. Страх страху – рознь. Есть страх за собственную шкуру, когда дрожишь от каждого стука в дверь, – это, я думаю, и о вчерашнем и о сегодняшнем дне. И есть страх – не успеть сказать Главного. Лучшего. Первостепенного. Вечного. И тут художник не дрожит за свою драгоценную персону. Но я не стал метать им бисер – хватит. Но что-то на эту тему все же изрек:

– Предчувствие того, что он не успеет, – вот в чем корень его страха.

– Все успевают, а он не успеет, – удивился скопец.

– Говоря о творчестве как таковом, вы, господа хорошие, упускаете сущий пустячок – не плановое это хозяйство. И тем более не коллективное. Мол, зачем рассчитывать каждый свой шаг, исходя не из гражданских позиций, когда можно идти в ногу со всеми гражданами, чей путь предопределен Историей? Так, что ли? Не у каждого идущего безопасная походка, – сказал я. – Мне лично опасно ходить вообще, а в строю тем более – всю жизнь кому-то наступаю на любимую мозоль.

Я поднялся и вышел. А они ушли за дерматиновую дверь – еще глубже к себе.

«Значит, для заграницы пишет», – решили две дубленки и одна шинель.

Помнится – декабрист Лунин пытался передать свою рукопись на Запад. Но там подкупило русское посольство типографа. Изъяло его послание. И уже тогда вконец придушила Держава несчастного. Неужели и тогда КГБ работал?

Чужую звезду легче нести, чем свой крест. Тем более в эпоху закрытых распределителей, когда жанр открытых писем непопулярен. Особенно там, где общительность больше трех уже заговор. Чуть ли не групповое изнасилование советской власти. Это в мире свободном наличие свободы творить так потрясает, как, впрочем, и полное безразличие к сотворенному. Это на Западе – пиши как хочешь и что хочешь. Поэтому непонятно, почему там спился Эдгар Алан По, просивший пристрелить его перед смертью. И здесь его биография просто врывается в русский сюжет.

Союз писателей СССР... История знает, как при слове «культура» хватались за пистолет. Эти тоже не за валидол хватались. На счету у наших почтенных чекистов прозы и поэзии столько загубленных жизней писателей настоящих, что вполне достаточно, чтобы их судили, как элементарных уголовников, отрывая от звучных засосов с их иностранными коллегами на пышных банкетах всевозможных детантов и прочих замирываний. Свободный мир не любит конфликтов. Известна неприязнь его к острым углам. Круглый стол – вот его любимая мебель (придвинем к нему и не менее жидкий стул).

Истинный писатель в России всегда был, есть и будет *смертником Слова*.

«У поэтов есть такой обычай, в круг сойдясь, оплевывать друг друга...»

Написавший эти строки явно имел в виду ЦДЛ – это стойло бескрылого Пегаса. Нет, здесь не пахнет конским навозом... Но парнокопытный перестук междоусобной драчки здесь налицо!

Этого не мог не заметить творец «Куклы» и «Храма» («Зодчие»), «Рембрандта» и «Федьки-коня», подслеповатый и застенчивый человек, никогда и никуда не выезжавший из Москвы и ее пригорода, – Дмитрий Кедрин.

В отличие от многих поэтов, он отличался уж очень тихой и спокойной биографией.

Начинал он ярко. Его хвалил Горький. Правда, тогда он хвалил почти всех начавших писать.

Потом по его почину будут и в степях искать мало-мальски грамотных, чтобы всучить им в руки писательский билет. Но это чуть позже пойдут Джамбулы.

В смутные времена, когда, казалось, все и вся вызывали подозрение, – к нему и комар не подточил бы носа.

Жил он в Тарасовке. Работал в многотиражке в Мытищах. По этой же ярославской дороге ездил иногда в Москву. Что случалось очень и очень редко.

После войны, когда родилась дочь, Кедрины получили комнатку, неподалеку от Бауманской улицы. Рядом с известным домом Васнецова, созданным по эскизам художника в виде богатырского шлема.

Рядом шумел базар. Гремели трамваи. А комнатенка плыла напрямик в седую старину. Здесь и были написаны многие его классические стихи. Некоторые он обливал клеем и соединял друг с другом. «Атилла», «Инфанта» – чем они не угодили его самолюбию? Впоследствии расклеенные – они поражали законченностью и мастерством.

Античностью веяло от его стихов. Они были отполированы, как мраморные плиты.

Из этих узеньких окон, упиравшихся в какой-то склад-холодильник, он видел древность, смытую человеческим склерозом. Копошась в ее архивах памятных, он извлекал старые сюжеты. Сдувал с них пыль забвения и описывал заново. Наполняя их современной кровью. Накладок быть не могло – мало в чем изменилось человечество.

Писал он много. Отрешась от суеты. Ничего не требуя, хоть и жили впроголодь. Заботы о хлебе насущном взяла на себя жена. Ничем не попрекая своего не от мира сего мужа.

Человек, никогда и никому не причинивший зла, оказывается, вызывал у кого-то неукротимую ненависть и зависть. Тишина его кроткого нрава, способность писать, не знающая кризисов и пауз. Растущая популярность его чеканных строк – все это кому-то не давало жить. Застилая близконосое зрение злобой и неверием в себя. На примере талантности всегда очевидна бездарность! Не умея научиться чуду – тупость утверждалась как могла. Поздно вечером, когда возвращался в Тарасовку, он был зверски избит.

Во второй свой приезд он был сброшен под поезд. Но зацепился за буфер меж двух вагонов. Кто-то увидел его, повисшего над рельсами, и остановил состав.

В третий раз – на площади Пушкина. Под тентом летнего пивного бара к нему подошли и попросили разрешения прикурить. И так подходили трижды. Он отдал им свои спички. Собрался было уходить. Его остановили и вызвались подвезти до дома. Доверчивый и ничего не подозревавший Кедрин сел в автомобиль.

Труп его нашли в Вешняках. Под платформой.

Несколько недель искала его жена. Соседи согласились присмотреть за малолетней дочкой.

Где она только ни была. Объехала все морги Москвы и Подмосковья. Кедрин как в воду канул. Вскоре в московскую комнатку, где жили Кедрины, приехали какие-то люди. Сказав, что они из Союза писателей, погрузили и увезли огромный ящик с рукописями поэта. А сам он в это время лежал напротив – через улицу, в помещении холодильного склада какого-то комбината.

Началось следствие. Подозреваемый в убийстве Кедрина завсегдатай ЦДЛ, сын какой-то околосредствительной дамы, тут же исчез из Москвы. Появился он снова лишь несколько лет спустя, когда уже давным-давно заглохло так активно начавшееся следствие.

Поговаривали, что это был убийца, нанятый кем-то из маститых деятелей Союза писателей.

Спустя некоторое время вдова, поддержанная несколькими друзьями поэта, пыталась возобновить следствие снова, но тщетно.

Смерть Кедрина остается загадкой.

Под боком Лубянки и на глазах у ЦК и вдруг – еврейская Правда – издательство «Дэр Эмес». Рядом правительственная магистраль – улица Куйбышева (бывшая Лубянка). По ней они шастают туда и назад – из Кремля и обратно. И хотя идут на больших скоростях, все одно она им глаза мозолит. А ведь чего тут только нет – на Старой площади, где новые министерства с «Центросоюзом» в придачу. Бывший Китай-город. И чиновников развелось, как китайцев. Но ЦК плодился быстрее. И вот уже стал вытеснять свои министерства, как-то незаметно оккупируя их территории. Отныне это площадь всего лишь пяти синекур.

Ну а уж Правда еврейская (хоть и в красную тряпочку и втихомолку) – тем более ликвидации не избежала. В 1949-м разогнали «Дэр Эмес», учинив обычный и примитивный еврейский погром.

Время, невероятно чуткое к человеку... Какую бдительную надо иметь спину – всю дорогу стреляют из-за пройденного угла.

Пятидесятые годы... ЦДЛ. В трауре родимый.

«И куда ж ты пошел, кормилец наш... вперед ногами?»

«Вестимо куда – к тому под бочок».

«Так мы ж без Сосо лапу сосать будем...»

«Можно подумать, что он сейчас леденец сосет, – добавляет кто-то сбоку».

«А может, он кормится в распределителе. Он же у нас активный».

«Да нет, он только лезет в секретари... Да ну его к черту, что ты пристал ко мне с этим ублюдком!..»

«Братцы! Оттепель началась, – петушком возвещает еще один завсегда, не отдышавшись как следует. – Крошечный зад, а на солнце сидел. И стоило ему „дать дуба“, как сразу же весна наступила... Вон уже и Пикассо выставляют. Так сказать, буржуазную живопись развешивают...»

«Сталина „выставят“ позже. Как пить дать – уберут».

«Ты считаешь, что двум медведям в одной берлоге тесно?»

«Да нет, Ленинский уголок для некурящих. Да и потом, он же не коммунальный. А ведь какая заманчивая мысль – коммунальный Мавзолей...» – «Штабелями и в мрамор?» – «Вот именно...»

«И жизнь пикасса и жить Пикассо!» – сказал Савелий Гринберг, никакого отношения к ЦДЛ не имеющий. – *Был бы жив Сосо – дали б вам Пикассо – правда, есть другие Сосы, и они не допустят никакой Пикассы. Встанут поперек и скажут: „Не публокачиваться и не припикасаться!.. И вообще, пошли вон – хоронить!..“*

«С радостью!» – мы ответим. И пойдем давить друг друга. Наш народ потолкаться любит.

Среди писателей жертв не было. Писатели хоронили вождя издали. Правда, нескольким членам союза что-то и отдавили. Ну да впередсмотрящим фингал под глазом всегда полагался.

Народ визжал, рыдал и плакал. Милиция уже исчерпала себя, а он все пер и пер, подтверждая свою многочисленность (когда сидит на месте, он не такой великий). Вот тут бы ему слезки-то утереть да плечиком на Стену Кремлевскую и навалиться. В ту самую, что столько зубцов на него имеет. Хоронить – так хоронить. Вон сколько их там за Стеной осталось!

ЦДЛ. Из края вечных мерзлот потихоньку стали возвращаться те, кого здесь никак не ждали.

Сдирая с груди номера, воскресали похороненные заживо. Добрым глотком свободы освежая в памяти свои забытые имена. Опять обретали давно растоптанное человеческое достоинство. Ногтями выцарапывая его из мерзлой колымской земли.

После всего пережитого – каким же счастьем показалась им воля! Этот жалкий суррогат, именуемый российской свободой. Радуюсь ей, они и не помышляли о мщенье. Они и думать забыли о своих живых до бесстыдства палачах.

Шли с ледовитых широт деда-морозы. Едва ли думая о сюрпризах.

Но память – о двух концах. И если у пытаемых она отбита, то у пытавших она, должно быть, свежа.

Ожидание разоблачения. Томительное ожидание с недобрый предчувствием беды. Час треснувшего благополучия. Еще вчера такого долговечного... Получка наоборот – день уплаты по вексялям. Да еще каким!

Зал ожидания – ЦДЛ.

Даже трещина в надраенном паркете – и та казалась разверзающейся под ногами пропастью.

Ведь даже мертвые однажды встают из могил, чтобы уличить своих убийц. А тут возвращались из смерти живые. Не с небес ждали трубный глас. Он чудился пониже, вырывающимся из-под земли.

Раздался выстрел Фадеева.

Тут-то и началось. Закрутилось и завертелось! Отделение жертв от Дела! Горят костры невидные – повальное уничтожение улики. Метлы скребут неслышные – замечают и зализывают кровавые следы. Подчищались пришедшие в себя от шока, до смерти (на сей раз – своей) напуганные подручные 37-х и 48-х годов. Заново укомплектованный аппарат Их Безопасности бессонно работал, как в дни кубинского или чешского кризисов.

А ЦДЛ тем временем пытался успеть осудить хоть одного. Предприимчивый парторг Сытин спешно начал организовывать вечера осуждения. Которые проходили, вернее, должны были проходить под лозунгом: «Виновников смертей – к ответу!»

Заволновалась писательская братия, призывая на свой нестрашный суд своих притаившихся было товарищей. Потянувших за собой далеко идущие нити...

Критик Эльсберг – первый и, пожалуй, последний виновник смерти – был исключен из Союза писателей. Он бы так не трясся, бедняга, зная, что его очень скоро восстановят в «почетном звании советского писателя».

Осудив одного, давали подготовиться следующему... Засуетился, стал неузнаваемо приветлив бессменный шеф издательства «Советский писатель» Лесючевский. Тайный рецензент книг репрессированных авторов. Это он обосновывал состав преступления в их произведениях. Его критическая дубинка, что называется, была наповал. Нет, не каштаны из огня таскал этот плюгавый человек... Талантливые головы, надрываясь от рвения, – таскал он в огонь. Каким же строкомером пользовался он, определяя степень виновности в стихах и прозе? На сколько лет заключения потянула лирика Николая Заболоцкого? Вот и выходит наружу – не стихи, а смертные приговоры писали себе поэты Павел Васильев и Борис Корнилов и десятки других не менее талантливых. Да еще вдохновенно. Еще четверть века он ни за что отвечать не будет, пока с почестями не похоронят.

Не дожидаясь своей очереди, стал оправдываться Ермилов. Его призвали к терпению. Ведь еще не кончен диалог с предыдущим оратором... Потом далеко на Западе предостерегут: «Убийца Маяковского снова поднял пистолет...» Да он его и не опускал. Но тогда испугался.

Дальше испуга – дело не пошло. Вскоре «вечера» прикрыли. Куда-то делся не в меру ретивый и далеко не безупречный Сытин. На всякий случай решивший опередить события.

«ЦДЛ, – слезно жалуется бывший начальник МУРа, подробно описавший вскрытие бериевского сейфа. – Рукопись конфисковали. Мурмуары!..»

Рассказывают, что он частенько арестовывал нашего брата. Чтобы почитать свои опусы. В одиночных камерах многочисленных каталажек. Попробуй убеги!

Ныне вынужден читать в ЦДЛ, хватая за рукава бегущих выпить.

«Рукописи не возвращаются...» Пережил.

Но умер Гроссман, когда отняли вместе с черновиками вторую часть его романа «За правое дело». До этого на задней обложке журнала «Знамя» было объявлено, что скоро произведение увидит свет.

Увидело. Да не тот.

Труд, вобравший в себя львиную часть жизни, стал пеплом.

Писатель – не птица. Тем более – не Феникс.

Да мало ли невозвращенных и нигде не хранящихся рукописей?! Один сундук Бабея чего стоит!

Повальный обыск... Нация ищет свои таланты. Свои умы палаты. Волнуется полковник сыска Бардин. Никогда они так не были опасны, как сейчас.

Трудно в наш век избежать соблазна и не назвать все своими именами. Не воздать по достоинству.

Женщины считают, что единственная возможность избежать соблазна – это уступить ему.

Названный перестает быть неизвестным. Но и назвавший тоже обречен. Назвать – значит не быть. Добровольно обречь себя на мучительное небытие. Перспектива. Но ремесло – сильнее нас. Да и где она – техника безопасности в нашей профессии?

Медузы Горгоны и вокруг гуляющие страусы. Со спрятанными головами... «Проходите мимо!» – так, кажется, называется инстинкт самосохранения?! Древние выражались определенной: «Вы говорите, время проходит. Глупцы, это вы проходите!»

Вон идет дед в трусах – часть природы. Идет себе по снегу... Опечатали старику пятки, чтоб не ходил, намекая на бедность российскую.

То ли долго проверяли. То ли сам созрел долго, но почтенного пушкиниста Гессена приняли в Союз писателей, когда ему исполнилось 90 лет. Неужто осчастливили старика, сразу омолодившего Союз писателей СССР. Ведь все принятые в Союз после этого старца невольно выглядят юнцами-вундеркиндами.

Середина пятидесятых. «Синтаксис» Алика Гинзбурга. Вот он первый наш «Самиздат»! И составитель его еще не кружит по тюрьмам. Но лиха беда начало. Тут за попытку лишь только подумать – сгноят. А уж если сказал – ну, тогда держись!

Не каждому Бог подкинул еще и бетона для пущей крепости – за свои слова отвечать. И кто бы тогда мог представить, что будешь таким ты выносливым, Алик. Щуплый на вид, а вот не сломить.

Хрупкие листочки, идущие из рук в руки, а на них... И какая ж армада на них навалилась, раздавившая столько до нас...

Вот оно пульсирует на ладони – «слово не воробей». Это когда оно вылетит – не поймашь, выпустил – и тебя уже ни за что из прицела не выпустят. Оно податливо, когда его пишешь, но с написанным уже не сладят топоры. Не все в этом мире играет на руку злу. Не слишком было бы жирно мракобесам и нашим и вашим, когда бы еще и слово, как автор его, погибало. На радость дружному их коллективу, в который так умеют они собираться. В отличие от нас – вечно разрозненных, мятущихся и нисколько не спаянных. А то и грызущихся между собой. А ведь с Неба проводка одна и та ж. И, казалось бы, чувство локтя... Да вот оно тут – всегда под боком... Чтоб в незащищенный поддых, когда ничего нет подлее удара с тыла. А может, оттого, что пишется широко, а потому и локти широко расставляем. Тогда только почерк от края до края. И вот она крайность – чем шире душа, тем места под солнцем друг другу – сплошная нехватка.

Да мыслимо ль это?

А может быть, ревность сдает – одна у нас Муза на всех? К кому же из нас она так зачастила, что хоть стой, хоть падай?

Однажды в бане я видел – голые дрались. «Шею намылить», наверно, отсюда пошло. Но вышли в предбанник. Оделись. И снова стали людьми (по крайней мере, до следующей бани).

«Вышли мы все из народа...»

Из любой ситуации безнадежной есть выход. Даже из СССР. И вот тут-то, пожалуй, мы к самой смешине подходим. Когда нам кляпом рты затыкают, мы вроде умеем друг с другом красноречиво молчать. Но стоит однажды вздохнуть нам свободно – как с выдохом нашим нечто такое летит, что загадка нашей души ну такая простая, что смысла нет называть ее нашей душой. Как умение молчать пригodiлось – замалчивать песни, разумеется, не свои (а ведь

вчера еще восхищали). И, напротив, молчать не уметь, когда их певцы, почему-то вдруг сразу чужие, петь начинают по новой, снова-здорово на свободу свою вырываясь.

А вот еще письмо издалека: «Мы тоже вышли наконец-то на волю. Вполне приделались... И перестали поэтами быть.

Свой, казалось бы, в доску Гладиллин, настолько свой, что можно спутать с гладильной доской, а приехал на Запад и стал ершист – неистребимая зависть совковая гложет. Наверно, „Свобода“ испортила – клеветник...

Или наш ненаглядный Маэстро – хозяин Азбуки нашей... Ну, вылитый аятолла! Старый хрен, как же он здесь мракобесит! Ты не знаешь, почему они все там так оборзели?..»

Вот приеду и тут же узнаю.

Это он начертает на обложке моего «Молчаливого пилота» – *«Русскую литературу должны представлять русские»*...

Так вот с какой стати здесь все, что на русском, показывают ему и наш ментор решает, кому, кого и когда представлять! (Поэзией здесь «заведует» другой нобелевский лауреат, но уже не в русских издательствах, не гнушаясь иногда «рубануть» и прозу.) Надо было схватить эту размашистую резолюцию за ее пышные кудри, но Эдвард Клайн, тогдашний шеф «Чехова», явно стесняясь, ее сразу же сжег. Да и первый вариант этой моей книги, пересланный тайно на Запад неутомимым Аликом, так и не был получен мной (верный клевет, он все отсылал своему вездесущему шефу) – «Очень в ней ценный фактографический материал, – сказала мне его секретарша мадам Альберти, специально ко мне прилетавшая из Вермонта в Рим, – а посему у меня к вам куча вопросов...» Короче – пожертвуйте кто сколько может. Он, видите ли, очень к жертвам привык. «Но, мадам, я ж не его секретарша, чтоб тоже в петлю?! Мне кажется, его писанина того не стоит...» Вот когда стало на душе моей – «вонько» (если взять за основу это его не слишком душистое слово). Вот тебе и свобода – подумал я, и с какой это стати Запад запах Востоком? (Это сейчас Восток пахнет Западом, а тогда обетованный Запад нестерпимо Востоком пах, так нестерпимо, что хоть назад подавайся.)

Вот что значит сорваться с цепи.

«Ничего! – скажет Бах. – Вот наши придут, они нашим покажут!»

...До чего ж невеселые вести доходят до запертых дома. Говорят, перегрызлись наши друг с другом таланты. Потянуло их в стадо, от которого еле спаслись. Вот она в чистом виде – по родине ностальгия. Пародия на содружество вольных стрелков. Где на вольных хлебах начинают дележку уже не хлеба. Это дома, где ставня с решеткой, не хлебом единым он жив, человек. Натощак удивляет.

Олимпийцы не бегают стадом. И копыто не ставят, как новую обувь, тебе показать. Когда, смотря на каблуки для наступанья на горло не собственной песне, иногда задаешься непраздным вопросом: а есть ли вообще походка у них хоть какая-нибудь, да своя? Или только сугубо своим поголовьем ступать по земле и умеют?

Так неужто нас тянет к ним в стадо? Или это российская только черта?

О, бесчувственность когтя до локтя! Нам бы хоть четвертушку их выучки дружной – давить всех и вся... Да в том-то, казалось бы, наше счастье-несчастье, что в другом мы однажды были умелы. Что-нибудь одно в несовместимых с их занятиях. Горло и петля – не одно и то же. Хотя и впились. Но зачем же туже затягивать петлю на горле самим – у самих-то себя? В России почище найдутся умельцы. За всю-то историю двое всего с петли и сорвались. Между прочим, один из них был поэт.

...Первый «Синтаксис». Тогда мы только ставили точки над «и». И обнаруживали акценты. А ударенья... Эти летели в нас. Было куда ударить. О, пробитые черепа российских поэтов... В них История дует старую песню свою. Вот откуда взялось – «вечно ветер гуляет у них в головах». И при этом всегда забывают добавить – дырявых.

Первый-первый... Как давно это было. Сколько вод, газированных нашим удушьем, уткло-то с тех пор. Сколько слез (зачастую с глазами вместе). Сколько рук неподкупных разжалось (а назад – с монеткой не тот уж кулак) и перья свои побросало в эту вечно текущую воду забвенья.

Черновик, обеляющий нашу жизнь. Мы сначала живем свои строки. И только потом их пишем на память. На чью?

«Синтаксис» наш... Лионозово. Ходит-гуляет подпольный наш список. Слепок, схвативший все лучшее в нас. Это в старости мертвая маска.

Лионозово. Здесь на холстах Оскара Рабина расцвела помойка № 8. Здесь быт хоронил живопись. А живопись хоронила барак. Картина так и называлась – «Похороны барака» (как тебе ныне в парижских барокках поживается, старина?). А рядом жил один помешавшийся автор. Он писал стихи и музыку. И еще он писал письма руководителям человечества от генсека до президента США. Одному он задавал вопросы. Другого спрашивал ответы. На одного он возвышал голос. Другого просил возвысить его. Не укрылись от его писем и послы суверенных государств.

«Выбранные места из переписки с друзьями».

Он требовал права писать. Пока не помешался вконец. После очередного курса лечения.

Что и говорить, Фортуна была к нему повернута далеко не аппетитным задом. Правда, когда она к нему повернулась передом, он не заметил разницы.

Однажды мы пришли к нему. Постучали в его мрачную дверь. Шаркнули шаги. Наверно, он прислонился ухом и ждал. Надо сказать, долго. Наконец дверь приоткрылась. И мы вошли. Он сидел без света и тепла.

«Почему?» – спросил я взъерошенного человека.

«А вдруг увидят свет в моих окнах и дым из трубы и подумают, что мне хорошо!..»

Вот идет мой товарищ и что-то в шапку ему барабанит. Значит, на улице прыгает дождь. И ему невдомек, что один он погоду имеет. Нет же, вернулся и зонт прихватил. И на него удивленно все тычут пальцем. Потому что дождь для него персонально идет, чтоб не зачах его урожай обильный. Чудак! О тебе же думает небо, а ты ему в морду зонтом... Иногда я просто отказываюсь своих товарищей понимать.

Семену Кирсанову заказали песню.

«Пристали, как с ножом к горлу, – вспоминал Кирсанов, – напиши!

– Не хочется.

– Напиши, ведь это выгодно.

– Нет, не выгодно.

– А что же выгодно?

– А то, что хочется...»

Эту роскошь – писать «что хочется» – писатель оставляет на самый конец своей жизни. Но не успевает. А почему бы пораньше не убежать на необитаемый остров... своего письменного стола?

Не получается. Со своими островами – куда ж потом на материк?!

И встает дилемма: запеть или запить?

Как тут пьют!

Правда, с этим борются. Выносят решения. Принимают меры. А в соседнем клубе братьев меньших – журналистов даже спрашивают при входе об уплате членских взносов.

Но все равно – пьют.

Алкогольные алкоголики – наилучшие представители нации. Их глотки пощадили Ниагару с ее знаменитым водопадом только потому, что она пресная. Хотя пенится, как пиво.

Хохлома иль Оклахома...
Пьется лучше только дома!

Рыцари закадычных омовений посреди юбилейных будней. Презревшие все праздники. Кроме единственного, который всегда с собой.

Пьянниссимо. Пьют тихо. Но только поначалу.

Потом вступают нижние регистры. И легкие, как шотландская волынка, начинают продувать уже очищенную от залежалых звуков гортань. И рушится плотина, уступая себя рисковой раскованности.

И снова пьют – с горьким умыслом выплеснуть себя вон.

Здесь пьют, забыв закусить и чокнуться. Ибо хрустальные души пьющих не выносят фанфар.

Пьют раскатисто.

Пьют главным течением, но не притоками и рукавами.

Пьют в голос. Ибо песнь – песней. Клин – клином. А лампада зрения горит на спирту.

Спириты... В горячих испарениях являются души безвременно усопших поэтов. Спившихся от зависти к Пушкину, Лермонтову, Байрону, Лорке, Гумилеву, Пастернаку, Мандельштаму и раннему Маяковскому. Забыв, что их убили. Бедняги, они завидовали их началу, но не их концу.

Пьют. Память не приходит на холодный глаз. Они пьют и вспоминают стихи великих – великой ценой заплативших за посмертную славу.

Сколько их пило и умирало посреди строки и стакана – молодых песенников, возжелавших быть народными, – Морозовы, фатьяновы, блынские, анциферовы, харабаровы...

Только один, чья фамилия оканчивалась на удивленное «о», подавился не словом, а куском. Да другого жена задушила¹.

Не каждый был певцом. Но отличным пивцом – был каждый! Бывало, приберут покойничков и опять сядут пить. Но что-то вдруг зачестила проклятая... Пошла-поехала косить...

Смерть гребла всех подряд. Хороших и разных. Сановных и рядовых. Колю Анциферова не знали, в чем хоронить. Его знаменитые (в ЦДЛ) строчки: «Лежу в гробу я в белых тапочках...» всегда вызывали улыбку. Едва ли уместную у гроба их автора. Решили положить его в гроб в шахтерских ботинках. Благо, «когда-то добывал уголек».

Этот 72-й високосный был сверхурожайным. Особенно на поэтов. Год пошел по гробы. Не добрав одного или двух до своей цифры. Костлявая крепко вырубилла отечественную поэзию. Юмористы умирали всерьез. Сатирики вдруг обнаруживали зубы. Скрипнув ими хоть напоследок. Многословные романисты едва успевали вспомнить чеховский афоризм – «Краткость – сестра таланта»... Умирали, и ничего за спиной... Даже эпитафии дрянной. Смерть с иностранным именем «регламент» обрывала строку. Полагая, что было достаточно времени, чтобы написать шедевр. Она была беспощадна. Вздернув, выстрелив, утопив добровольцев. Стариков она чинно хоронила в ЦДЛ.

Похороны стали буднями в ЦДЛ. Захлопывались гробы, как лифты с уезжающими вниз. Едва ли не каждый день. Такое ощущение – помедли чуть цэдээловские похоронщики – и набралась бы гора трупов.

¹ С. Дрофенко и Н. Рубцов. Что же касается жен – здесь они, как правило, переходят от одного поэта к другому... по наследству. Если их не «отбивают» друг у друга (как Евтушенко у Лукониной). Наши советские Лауры... Начиная с секретарш секции поэтов, они уже никогда не выходят за пределы ЦДЛ. Разве что в Польшу увезут. Опять же в Союз советских писателей. Так, одна умудрилась быть женой около девяти поэтов. Другая – шести. Третья – пяти. И почти ни одной, которая бы задержалась на одном... истинно советском.

Ротапринты шпарили шаблонные некрологи. Суетились метранпажи, тормоза редакторов. Замороженные редактора сквозили по этажам, пробивая даже фото по инстанциям. Как правило, из пяти – пять забраковывали.

А тут еще не раз лауреатка, коммунистка и т. д. – задумала умереть с панихидой в церкви. А ведь такая убежденная была! Наверху еще не решили, как быть. И вот появляется наконец некролог с фотографией в траурной рамке. И все не узнают покойную... Оказалось – другую, живую еще писательницу отпечатали вместо мертвой.

«Прошу виновных не наказывать. Я в том возрасте, когда и со мной может случиться подобное...» – написала в «Литгазету» Анна Сакс.

Не беспокойтесь, коллега, – не накажут.

Крутится телефонный диск, проскальзывая номера навек замолкших телефонов. Все одно – хороших людей умирает больше.

Без друзей – хоть люби врагов.

Без врагов – хоть ссорься с друзьями.

ЦДЛ – свежие тени с еще не истлевшими рубахами. Еще не охрипшие от сырой земли голоса...

Однажды в самолете вместе с «Литературной газетой» выпал рвотный пакет. Я невольно улыбнулся их необыкновенной схожести. В один пакет заворачивают плохой вестибулярный аппарат. В другой, уже полный, чьей-то изнанкой окунают мозги непосвященных. Чье мировоззрение тут же скончается, опоздай хоть на день эта обертка.

И где они столько дегтя берут? И все-то они знают. И все-то им известно заранее. И еще не было ни одного всемирного авторитета, с которым бы они не поспорили. Не опровергли. Не подмочили, вывернувшись до слепой кишки и не выбросив на голову несчастного оппонента все экскременты, накопившиеся за неделю!

Что и говорить – в этом мире мудра лишь одна «Литгазета». Все в этом мире подплывает под объективы бывшего полковника КГБ Чаковского. Ни одна проблема не сиганет от него в сторону. «Литератор» всегда начеку. Ну как тут не подписаться на «ЛГ»? Где нашей жизни завы и Зивы, Зиси и Зуси и прочие дуси так и норовят наставить тебя на путь истинный. Где Пушкина пишат Глобы – не глыбы, а всего лишь камушки в его огород. Где вот уже столько лет не закрывают рот... штанами.

А ведь вполне могла быть читабельной. Как свое приложение – «Клуб 12 стульев»... Со знаменитой (но пока не опубликованной) Ленинианой. Которую, как и положено, возглавил парторг «Литгазеты» Олег Прудков (не путать с Козьмой Прутковым) – предложивший лучшие советские духи назвать «Запахом Ильича».

Подбросил в костер сугубо ленинского юбилея не менее светлую мысль и ответсекретарь газеты В. Горбунов (не путать с горбатым Чернецким – «черным кардиналом» этой же газеты) – назвать также лучшее советское мыло – «По ленинским местам». Эта идея родилась из дискуссии на страницах «ЛГ» – «Так ли уж необходимо выпускать яичное мыло, если советскому человеку надо все тело мыть?».

И вообще, не пора ли диссидентов пустить на парфюмерные нужды? Гитлер, например, это делал вполне успешно.

Ходит слух, что это предложил зав. отделом писем неутомимый Румер (кстати, румор по-английски и есть слух).

Внес в Лениниану свою лепту и бессменный коллажист этой газеты Вагрич Бахчанян. Это его идея переименовать древний город Владимир – во *Владимир Ильич*. А также сделать часы-ходики, где бы вместо надоевшей всем кукушки выскакивал бы к народу Главвождь и скороговоркой выпаливал: «*Товагищи, геволюция, о необходимости котогой все время говогили большевички – свегилилась. Уга, товагищи!...*»

«Я волком бы выгрыз только за то, что им разговаривал Ленин», – как метко подметил В. Маяковский, слегка подправленный Бахчаняном, или попросту Бахом.

Надо сказать, идеи его всегда отличались рациональностью. Так, например, он предложил улучшить валютный запас страны. А именно – возить мумию нашего Тутанхамона по капстранам. Настоящие деньги, конечно, полились бы рекой Миссисипи. При этом расходов – никаких. Их десять штук, таких кукол.

И тут невольно вспоминается история эмиграции Левы Збарского – сына известного, засекреченного и невероятно личного ленинского бальзаматора. Также не вылезавшего из Мавзолея.

Однажды во время великой и многоотечественной войны они втроем – папа, Лева и Владимир Ильич – были отправлены в эвакуацию в тыльный, пыльный и давно уже не хлебный город Ташкент. И ютились там, по сути, все в одной комнатенке. Спустя 30 лет Леву долго не отпускали в Израиль по той простой причине, что Ленин, вполне вероятно, успел им что-то сказать.

Главрежу МХАТа Олегу Ефремову Бах предложил, пока не поздно, поставить пьесу Погодина «Кремлевские куранты» с труппой лилипутов. Или, на худой конец, просто пьесу «Вечноживой труп». А еще лучше – фильм «Женитьба Бальзамированного».

И вообще пора, – сказал Бах, – переименовать Мавзолей в *Мавзолеин*. А может быть, даже и в *Маовзолей*. Что мы – хуже китайцев?

Первый Красный (или, как у нас называют, Ленинский) уголок, разумеется, был где-то у Крупской. Эту догадку высказал однажды зав. иностранной прессой «Литгазеты» товарищ Марк Шугал (не путать с Марком Шагалом). Главный хранитель крамольных иностранных журналов, где не только голые бабы, но и оголенные провода идей, он запросто мог поднабраться от них и более взрывчатых догадок. Недаром он тщательнейшим образом заклеивал скотчем сплошь все страницы, оставляя только необходимую для перепечатки у нас. И ту обрамлял в черную рамку, чтобы лишнего не вылезало. Очень бдительный Шугалок (как его ласково тут называли. Кстати, древнейший романс «Наш уголок я убрала цветами» – это о нем) еще и бдил непорочную чистоту персонала.

И уж под каким именно из 12 стульев, но родились здесь знаменитые очереди:

«Очередь хороша тем, что она движет вперед».

«Сплотим наши ряды, и очередь станет короче!»

«Люди стали одеваться лучше, и очередь стала нарядней».

«Когда не будет очереди в Мавзолей, тогда вообще никаких очередей не будет».

В свое время и я, грешный, попытался участвовать в Лениниане, захватившей наши умы и сердца. И тоже внес рацпредложение – называть наших вождей «Ваши ильичества!». А клуб и без того процветал, собираясь и дальше цвести двенадцатистульно, но мало-помалу стали разбредаться, кто куда, его стулья.

Бывший заместитель по юмору ныне вполне серьезно работает в журнале «Америка». Другой – в «Голосе Америки». Третий – просто в Америке. Даже бывший в «ЛГ» «шестеркой», выдававшей клей, – сам сейчас журнал издает (не путать с Перельманом, написавшим «Занимательную арифметику»). Пятый, шестой и так далее – тоже где-то процветают. Ну а бессменный коллажист – теперь уже коллажист бессмертный. Он уже в Истории, которая то с нами пойдет, то без нас. Так и мечется старушка, пока к рукам не прибрали, его коллажи транслирует западное телевидение, вызывая нездоровые эмоции как у врагов на родине, так и у друзей на чужбине (очень им недоволен Русский музей в изгнании в Монжероне. Того и гляди будет дважды изгнанником Бах).

Вот что значит школа.

Короче, выездная редакция «ЛГ» на Западе. А в авангард, как правило, высылаются лучшие.

И вообще, мне кажется, сила России не в том, что она может, а в том, чего не может Запад.

У Пушкина был Бенкендорф, а у нас Бардин.

Из членосоюзописательских разговоров

– Так где же ты все свое прячешь? – спросил полковник, окантованный голубым. А уж потом генерал почесал любопытство.

– Так где ж ты все свое прячешь? Куда свой талант закопал? – спросили хором его коллеги. Как в древнегреческой трагедии – слегка отступя. – Дал бы хоть почитать... – И потом опять наступая: – Так где ж ты все свое прячешь? – И так свои па повторяли, пока генерал не раздвинул пальцем усы.

– Дал бы хоть почитать, – сказал генерал, – мне доложили, что будет нам интересно.

– Вы странные люди, вам дашь почитать – и с концами.

– Так где же ты все свое прячешь? – спросили хором коллеги – сразу и не поймешь – чьи. Когда был отпущен домой – в Центральный Дом Литераторов, где была попытка настенной надписи: **«И вы не смоете всем вашим черным кофе поэта праведную кровь!»**. – Дал бы хоть нам почитать – так сказать, взглянуть профессиональным глазом. Ну что тебе стоит – хоть нам покажи! Обсудим. Обскажем. (Отгасим...)

Чьи больше коллеги они – мои или их? А впрочем, какое мне дело?

События явно вошли в интерес. И снова я вызван был на коврик допросный. Туда, куда сами не ходят, а если попали – не чаят выйти скорей.

– Так где ж?

И так далее – снова-здорово. Только первым спросил уже генерал, окантованный голубым. А уж потом сам Феликс Железный с портрета. И честно сказать – надоел мне их пунктик-вопрос. И что я им дался? Сказать бы им правду, да ведь не поверят. Какой с этой рукописью случился позже конфуз, какой детектив, сообразно их любимому жанру, – переправил на Запад, а там ее нагло «зажиллил» их же изгнанник, лауреат абсолютно не их государственных премий, да можно сказать, их злейший враг и в то же время, смотри-ка, их добрый союзник, явно не желавший, чтобы вышла злосчастная в свет, даже в Новом Свете, где что только в свет не выходит. Снова-здорово пришлось начинать, полагаясь на память.

«Старик, ты ею новый придумал жанр!» – восхищался мой друг Володя Максимов.

Я – жанр, а они ей и там и здесь пытались придумать судьбу. Для начала не книгу, а автора взяв в переплет.

– ...Так где же, ты наш несравненный, заначка твоя?

– В самолетах, – сказал я, – чтоб быть поближе к народу, летящему в светлую даль. А то, что ему непонятно, – в леталках повыше, чтоб к Богу поближе. Глядишь – при случае и возьмет его щедростью здесь написанное. Ввиду невозможности здесь напечатать, хотя не уверен, что он все подряд читает. Представляете, если каждая искра божья начнет ему выдавать на-гора!..

– Все шутите?

– Все шутит.

– Шуткует...

А самый начитанный из них произнес всей величественностью рта и крупностью подбородка:

– Вот я созерцаю и вижу – подначки. А мы о чем спрашиваем – о заначке.

Вот я все внимаю и слышу – издевки. А ведь мы умеем из вас вить веревки.

Вот вы нам изволите свой юморок. А мы вас в больничку без лишних морок.

Вы нам – уколы сентенций. А мы вам – уколы под хвост, – вдруг сошел он на житейскую прозу. И больше к высокому слогу не лез.

– В больничку его! – зашумели чинами мои собеседники. – Ишь какой одночлен – коллектива не хочет, чтобы, взявшись за руки, дружно поднять ее на должную высоту.

Вот кого поднимать – я не понял. Наверно, ее – неподъемную и отечественную.

Почему б не поднять. На смех. А то, что ее вдохновляет, – и того легче – пушинки легче там лежит. Совсем младенец от усушки.

– ... Вот я к вам взыскую, взываю – беритесь за ум, гражданин поэт и союза московских писателей член! Не то хуже будет, – наверно, решил припугнуть генерал. Дождавшись, когда все умолкнут.

– Да что с ним возиться – в больничку его! Подумаешь, цаца! Там быстро подлечат... Писатели – все того! – и сколько-то пальцев виски засверлили. Спасибо – свои.

Но дальше угрозы дело пока не пошло. Кто-то расстегнул меня лихо и выложил на стол мое членство союзописательское. Решили проверить – на месте ль оно. Квадратик картонный – всего ничего. Не талисман, но на первых порах защита. Так как писателей членосоюзных нельзя было брать без особого на то разрешенья. Я такую инструкцию от наших пьяниц слышал. Говорят – их даже домой, не вяжущих лыка, возили, чтоб нечаянно не арестовать. Дабы пресечь нежелательность слухов. Я, может, поэтому и вступил в члены СП, не будучи членом партии самой членской. И самой партийной, где даже женщины члены. Из двух зол по жадности выбирают – большее. Из двух членств по необходимости берут – наименьшее. Что я и сделал. Главным образом затем, чтобы было выгнать откуда. Ведь если писатель – член союза и, скажем, натворил такое, за что по головке не гладят, – его ведь гонят сначала из дружного и привыкшего гнать коллектива. А уж потом, только потом сажают. Или другой какой стеной окружают. А если он просто писатель. Да еще неплохой. И что-то из ряда вон выходящее пишет. И гнать его соответственно неоткуда – беднягу сразу берут в переплет. И тут уж он света не взвидит, как и ему насолившая – книга.

У меня ж оставался окопчик штрафной. У меня есть плацдарм к отступлению. Передышечка. Творческий отпуск – подумать. Раз они меня сами признали. Раз приняли в свой союз, поскольку нельзя не принять меня было. Очень был очевиден в умении слов. Тем более на фоне классиков (серей не придумать), каждый день выходящих в тираж. Что, ей-богу, не делает чести поэту. Пусть всемирно известному пока лишь себе одному.

Поначалу должны меня выгнать. Суется. Готовят пинок. Давайте-давайте – плевать я хотел. Это еще не беда. А ну, предположим, и выгон, и арест. Что ж получается – вора – за кражу. А писателя-профессионала – за книги? Что скажет общественное мнение? Не наше (у нас только общественные уборные пока) – а там, где оно еще что-то может. Опять скажут – нет прока в своем отечестве. Опять в их отечестве черт знает что!

Нет, вроде и на сей раз не берут. Чего-то боятся, хоть и привыкли на все свое презиранье класть. И снова я был в ЦДЛ отпущен. Туда, где шуруют домушники от литературы в специальных своих кабинетах. И готовят мне выгон. Потому что в главном их доме взяли с меня подписку, что явлюсь я сюда – в виде исключения. А прочие, кто вызван меня осудить, никак не возьмут в толк – зачем меня принимали? И как могли допустить? И кто же сделал такую промашку? Ведь надо ж такое – сквозь столько-то сит и проверок и в каждом углу стукачей – и на тебе – влез к ним крамольник. К тому же крамолу свою читать не дает. Зачем принимать в наш союз такого? Ведь явная глупость и в обостренную бдительность, можно сказать, плевков.

Глупые люди, да затем, чтоб узнать – где свое сокровенное прячу. Да вот не вышло... пока.

Травля в печати – еще не травля. Вот когда приглашают побеседовать по душам – вот тут смотри в оба! Отравят. Как Володю Войновича. Или сядешь на стул, как художник Жарких, а он с ипритом. И выбежишь, как ошпаренный. Или угостят конфеткой, как в свое время Сталин Горького. Еще надо быть осторожным, когда ловишь такси. В них иногда инкассаторы ездят. Так художник Попков остановил его было на вполне оживленной улице... И получил пулю

в лоб. А пьяный инкассатор, протрезвев, получил благодарность. Поезда тоже не слишком надежный транспорт – очень даже кидают под них. Опять же небезопасно держать нитрокраски дома – еще заживо сгоришь, как Евгений Рухин, тоже художник, и неплохой. Правда, это не менее рискованно, чем собственные рукописи – вот так на виду – держать дома (в секрете их еще опасней держать. Обязательно в погребок заглянут, в пороховой, и уж тут неминуемо в воздух взлетишь). Смотри, чтоб не отдавили пяту (ахиллесову) идущие по пятам.

Ну и, наконец, в собственный подъезд, как мы позже увидим, также входить смертельно – того гляди долбанут по голове, будто на ней написано, что она талантливая.

– ...Ну что – сладил с тараканом! – бывало, говорила мне моя бабушка, когда еще не летала. – И почему Бог не дал ему крыльев, чтоб он от тебя спасся? – больше возмущалась она, чем спрашивала. Она была всей своей сутью летуньей. Она просто помешалась на идее летать. А Библию так вообще считала сплошным руководством к полетам. Там ведь все, кому не лень, ангелы. И все летают. О, бабуса моя, бабуса... Ей бы только в полет! Вот дедушка мой, этот, напротив, был сугубо земным человеком. Террорист, между прочим, – заметил сосед мой вскользь. – Однажды пошел он к вождю на прием. Выстоял живую очередь к мертвецу. Все же лично был знаком с ним, да и начинали вместе. Увидел его и ахнул. Так изменился. Стало не по себе. Выбежал. В глазах темно. Облокотился на стену... А она оказалась кремлевской.

Кстати, о бомбистах. Был у нас в дурдоме человекобомб. Что уж он там копил в себе, какую лучистую энергию, но очень верил во взрывчатую силу накопленного. Вынет, бывало, яичко не простое, а золотое (вечно красил его лозунговой краской) и грозит: «Вот сейчас разбегусь и как шарашну – весь мир к чертовой матери расколю!» И начинал клевать головой, отсчитывая предстартовые секунды... Но в этот момент обязательно кто-то успевал подбежать и обмочить незадачливого человекобомба. «Ой, опять мой запал обмочили!» – кричал несчастный, поджимая под себя свою отталкивающую ногу. А потом ложился плашмя и плакал бесслезно – он всегда держал свой порох сухим. Но на завтра подсыхал, и все начиналось сначала.

Нижний Новгород имени Горького.

Тихий Дон имени Шолохова.

Ялта – все здесь имени Павленко... (кроме домика Чехова).

ЦДЛ имени Фадеева.

Остальные мелко плавают пароходами. В океане любви народной. Кто куда желает воплотиться помимо письменного стола – в пароходы, города и прочие дела!

Звякнула белая гантелька телефона на просторном столе Руководителя писателей России. Но ее не принято схватывать сразу же. Есть секретарша. Другое дело – черный аппарат-вертушка. Не трубка – двуглавая гирия. Выжимают ее стоя. Хотя это не видеотелефон и можно было бы так не волноваться. Но вертись, вкручивайся в нее! Недаром же вертушкой прозвана.

В России начальства боятся все. Без исключения. Особенно писатели. Хотя им сам бог велел, чтобы их боялось начальство, как правило трусливое.

...Звон этого телефона еще долго звенит в голове, тяжело прессуясь к переносью. Мгновенно вспоминаются все грехи и мелкие пакости. Все «кабы чего не вышло!» и «не всплыло ли чего?!»... А может, к носу – неуплаченные партвзносы? Так ведь слаб человек – с деньгами трудно ему расставаться так, за здорово живешь!.. В крайнем случае отнесут за счет странности всех творческих работников. Хотя и скажут при этом, что «коммунист чокнутым быть не может в отличие от всех беспартийных»... А где наша не пропадала! – и тогда уже робко черную трубку берут.

Но это, слава богу, звонил не черный. Заглянула секретарша:

– Вас с какой-то судовой спрашивают. Соединить?

Он поднял легкую, как все белоснежное, трубку.

– Привет со стапелей! – забулькало в ней. – С вами говорят комсомольцы энской судовой верфи.

– Какой судоверфи? Да, впрочем, не важно... Я слушаю вас. «Небось опять жалуются в, Фитиль“», – лениво подумал главный инженер человеческих душ. По совместительству ведающий «Фитилем» куда надо и кому надо.

– Дорогой Сергей Владимирович! Мы, ваши с детства читатели, просим вашего согласия назвать нашим самым любимым именем новый трансатлантический лайнер-гигант!

– Да что вы, дорогие... поскромнее бы...

– Значит, в принципе вы согласны?

– Да как-то неудобно... вон Пушкин теплоходом ходит. Пришвин – баржей, а Лев Толстой – танкером. А Бунин так вообще прогулочным катерком. А какой писатель! Уже можно (вернее, разрешено) сказать – великий русский писатель! А тут сразу международно и трансатлантически... К тому же надо согласовать, утрясти, увязать, провентилировать. Там, наверну. Субординация, понимаете ли...

– Да что вентилировать! Речь идет о самом любимом, к тому же живом! И вообще, большому кораблю – большое плавание! В общем, лады?!

– Лады-то лады, но не в обиду вам я все же проконсультируюсь.

– Да сколько угодно!

Через неделю просили подтвердить согласие. Ибо лайнеру-гиганту пора бутылку об нос разбивать.

Еще через неделю выяснилось, что лайнер-гигант уже назван вопреки единодушию комсомольцев. Но ничего – кораблей много. Строим быстро, добротнo и, слава богу, недешево. Есть еще один – не хуже и тоннажем не меньше – турбодизель-электроход экстра-класса – не тихо, а громко океанский корабль!

Вскоре выяснилось, что со стапелей сходит катамаран-великан на подводных крыльях.

– Вы уж будьте покойны, дорогой наш товарищ Фитиль! Мы от своего не отступимся! Мы своего добьемся! – урезонивали комсомольцы пунцового от счастья баснописца и детского писателя, чьи книги, можно сказать, оставляют в детстве и в душе которого уже начинало штурмить приятное волнение с обязательными приливами творческих сил. И без того плодовитый, он стал писать просто без удержу.

– Может, не на подводных крыльях, а, ребята?! А то намек, знаете ли, на всяческий подтекст узрят. Давайте лучше по старинке – бескрылый корабль. Я уже и библиотечку из своих новых книжонок приготовил для капитан-салона. Чтоб знал экипаж, под чьим именем ходит!..

– Без крыл так без крыл.

В обещанный день позвонили, что корабль будет. Уже подплывает под сроки сдачи. Назовем! Только надо подождать немного.

– С нетерпением жду!

Наконец раздался жизнерадостный звонок в нетерпеливую душу главного писателя России.

– Корабль назвали Суворовым (что великий полководец подавлял Пугачева – об этом у нас не заикаются даже настоящие заики. Растянность программ нашего телевидения – тоже в немалой степени зависит от них... И это в век-то скороговорки).

Прошел месяц. Отчаявшийся ждать и уже начавший было сомневаться педагогический академик, и без того с дефектом речи, разволновался и сам позвонил на верфь. Сказали: позвоним завтра (видимо, очень долго выражал свою мысль, а людям работать надо).

Позвонили через неделю. От лица многочисленных читателей-почитателей, поклонников и поклонниц, зрителей и зрительниц поздравили его и себя с одержанной победой. После стольких мытарств дали, наконец, корабль. Дали, черт возьми! Дали, кровь из носу! Увен-

чали! Правда, это не танкер, а всего лишь сухогруз. Но сухогруз – не дерьмовоз! Да и название-то какое – «ФИТИЛЬ»!.. Еле уломали начальство. Чуть ли не до ЦК дошли. А своего добились. Мы думаем, – подвели черту комсомольцы, – что один из авторов текста когда-то петого госгимна, а также главный редактор «Фитиля» и вообще дядя Степа не будет противиться этой оказанной «Фитилю» чести. Сухогруз так сухогруз! Тоже красиво! Не по внутренним же речкам – по морям-океанам плавать будет! Конечно, танкер больше бы подошел. Но больно огнеопасное название! В отличие от «Фитиля», танкеру гореть ясным огнем не пристало.

– А как же быть с библиотечкой?! – заикнулся было многолауреат, пишущий для детей и по-детски, не забывающий и взрослых осчастливить.

– Пусть лежит. До лучших времен, когда и Вам самим тоже подберут корабль по достоинству. Посмертно, разумеется. А что будут на нем возить? Пока неизвестно. В зависимости от тоннажа. К тому времени все емкости, как никогда, под отходы пойдут. Много нажрали!

Кто куда желает воплотиться до того, как спалят тела?

Прижизненная забота о духе – она первоочередна.

Стоит Пушкин на площади его имени.

Маяковский тоже без места не остался.

Гоголь вот без площади – ютится на бульваре.

Горький – у Белорусского вокзала. Будто на Капри собрался.

Следующая – «Аэропорт», – объявляет водитель. Кто встанет у «Аэропорта»? Ведь здесь живет столько писателей!

Толпа претендентов на какой ни есть, а памятный камень.

Площадь или площадку? Бульвар или улочку? А увековечь!

«Наплевать на бронзы многопудье, наплевать на мраморную слизь...» – это, как говорится, в кино, а в жизни, вернее, после жизни кому не хочется стать добротным и каменным. Или, в крайнем случае, – бронзовым. Или гипсовым. Или, на худой конец, из папье-маше. Помозолить глаза своим, пока живым, читателям. Потом следующим, и так до скончания веков. Пока люди опять не залезут назад – на дерево.

Читатели – они народ странный. Вот Вольтера – то в помойку труп сволокли, то откопали – и в мрамор. Кнута Гамсуна закидали его собственными книгами. Шолохову – так по почте отсылали. Представить только, сколько почтовых составов день и ночь пыхтело по пути в Ростов! Евтушенку – в оркестровую яму сбросили. Только присыпать забыли. Вылез.

Другое дело – когда стоишь на ногах крепко, глыбой придавливая свою же собственную душу, в любопытстве лезущую из-под земли.

Толпа претендентов с прижизненной славой. Или хотя бы слушком. Ведь слава – она со слушков высвистывается.

Толпа – одинокая в понимании своей значимости. Легко представить, что начнется, когда начнут отбирать кандидатуры!

Правда, нужна маленькая формальность: чтобы встать – надо умереть сначала.

Кто кого опередит? Ведь на финишной прямой в свет иной не идут нос к носу.

В писательской поликлинике врачи начнут торговать врачебными тайнами – кто чем болен и кто когда может отдать богу душу, вырвавшись тем самым вперед.

Правда, есть запрещенный прием – удар самоубийства. Но этим не проведешь! Себяубийце не то что памятник, но даже простенькую могилку и то заполучить невозможно.

У нас, за редчайшим исключением, самоубийц и близко не хоронят рядом с бывшими людьми.

Так что придется умирать честно. Соблюдая живую очередь. Пропуская вперед тех, у кого заслуг поболее, хоть и таланту поменее.

Если даже душа еле в теле – терпи! Придет и твоя очередь! Это раньше считалось, что умереть – проще простого. Не тут-то было!

Что будет! Что будет!

Книжные магазины опустеют. Книжки разберут – их написавшие. Завалят ими Моссовет и прилегающую Советскую площадь.

К станции метро «Аэропорт», вплоть до аэровокзала, будет ни пройти, ни проехать. Приблизительный участок под икс-памятник оцепят и застолбят. Чтоб иногородние, чего доброго, не понаехали. Ведь писателей ни много ни мало, а за 8 тысяч давно перевалило. И каждый в душе если не Пушкин, то по меньшей мере Колас.

Что будет! Что будет!

Графоман... Он во всех областях творчества. Даже в пении (кстати, безголосость – первый признак его). Ну а уж в области той, откуда он сам происходит, его вечно хватало. На карандаш наскребет любой огрызок. Раньше ему хоть можно было сказать: «А ну, не тронь гуся!» А если тронул – «Вставь-ка перышко ему назад!..» Ныне он вечными пишет. И с него как с гуся вода.

«И звезда звезду хочет сглотнуть...» – задирает в небо он глаз завидуший, без парашюта на землю его опускает. И сразу такая жижа вокруг.

Их две категории – графоман печатающийся и графоман не печатающийся. Этот наиболее надоедлив. В зависимости от занимаемого им положения в обществе даже воинственен. Пользуясь властью, он не преминет ею злоупотребить (мы уже знаем, как начальник МУРа арестовывал нашего брата, чтобы почитать ему свои опусы). Если же он просто штатский – все одно одолеет. И поставит тебя перед необходимостью слушать его. Либо кидать в окно. Как правило, он тяжел – все написанное держит при себе. А это тонны и тонны.

Если представить себе графически все написанное графоманом, это будут нескончаемые тараканы бега, легко перемахивающие континенты и неостановимые никакими катаклизмами. Земноводная жизнь с заглушкой бумажной в жабрах давно уже всплыла вверх животом, а бумаги все одно не хватает. Рьяно пишет наш графоман. А потом еще и читает как оглашенный. И тут уже мир оглушенный – как рыба кажет капитуляции белый живот. В Америке он стал уже захватывать пассажирские самолеты. Благо на них летают актеры – есть кому почитать его продукцию вслух. Да и вмещают уже, слава богу, народу столько! Опять же, есть послушать кому. Не прыгать же вниз.

И тем не менее графоман народу ближе профессионала, ибо это и есть народ, балующийся литературой без отрыва от производства...

– Вы знаете, моей песне поставили памятник, – сказал Михаил Рудерман, автор знаменитой «Тачанки».

И я живо себе представил: где-то в степях Украины стоит гигантская гранитная колымага. А вокруг круглосуточно гремит его песенка. И счастливые туристы спешат, бросив свои города и веси, страны и континенты, загоня уже наполовину сдохших лошадей оседланного ими транспорта, стремятся увидеть воочию все четыре колеса этой небывалой творческой удачи.

Три Пегаса, запряженные в пулеметную тачанку. Вот уже полсотни лет везут они своего певца. Написавшего свою лебединую песню еще в молодости. Такой езде позавидовал бы сам Гоголь! Не он, а стареющий Миша гоголем мчится на птице-тройке. «И летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства... Какой русский не любит быстрой езды?!»

Из-за боязни упасть с этой чудо-тройки автор единственной песни ни грамма спиртного не пьет в ЦДЛ.

Но пил здесь и за него, и за себя, и за многих других – другой Михаил – Светлов. Так и не попавший в свою Гренаду (все пишу до горизонта. А ты, босяк, пиши за горизонт!).

Он же – цэдээловский «крокодил», который в отличие от журнала был зубаст и острил без цензуры.

Добряк-бичеватель... Даже внешне чем-то схожий с Вольтером. Полумесяц лица – нос и подбородок, бегущие навстречу друг другу... И прорезь рта – копилкою острот.

Он шутил, даже умирая: «Ты знаешь, босяк, что это за аллея? Это Моргенштрассе. В конце ее – морг. Кстати, принеси мне пива. Рак у меня уже есть. И вообще, выньте, Яша, хер из зада, я же не Шахерезада».

А его светлость граф Толстой, который Алеша. Он же гражданин (когда надо) – как пил!

Однажды в Ташкенте, выйдя из дому, я увидел, как имя его приколачивают к фасаду нашей улицы. Правда, ее по-прежнему звали Почтовой. Почему утолстили именно нашу улицу? Наверно, все остальные были уже переименованы.

Но в Ташкенте все же жил Алексей Толстой. Во время войны. Жил широко в голодно жмущемся к базарам городе.

Как-то он устроил скандал местному начальству, не снабдившему его вовремя сливочным маслом. Здесь его почитали как лозунг – «Все для фронта, все для победы!»

В отличие от Льва Николаевича, вегетарианца, этот Толстой едва ли постился.

Из всего написанного им и о нем я вижу только картину Кончаловского, написавшего его завтракающим.

Случилось так, что знаменитый натюрморт, пылающий красными окороками, ожил воочию в наиголоднейшее мое время.

Несколько мальчишек – мы пришли тогда к Толстому то ли просить его выступить у нас в школе, то ли сами почитать ему свои стихи.

Старинный особняк. Дверь с медной дощечкой. Замысловатой вязью выведено: «Гр. Толстой».

Почтенный старик с пышными бакенбардами и в ливрее. Справившись – кто мы? – проводил нас в гостиную. И сказал, что его светлость граф изволит завтракать.

Кто-то из нас поправил надменного старика – «Не граф, а гражданин!». Почтенный вспыхнул и, чеканя каждое слово, едва сдерживаясь, произнес: «Кому гражданин, а кому – его светлость граф».

Появился сам хозяин. Широким жестом пригласил в столовую. Велел принести приборы. И пододвинул каждому из нас по хрустящей белоснежной салфетке.

Стол не умещался в узкое отверстие зрачка. Громоздья невиданной, разве что с картин фламандцев сошедшей сытостью. И это посреди голода... Гастрономы военного времени, с забитыми фанерой витринами. С давкой за поджаренными воробьями. Могли ли они идти в сравнение с толстовским завтраком?! Копченое мясо, только-только снятое с крюков, лесным костром папахивающее... Гуси-лебеди подбоем своих крыльев стыдливо прикрывали свое фарфоровое ложе. Даже селедка и та, как фараон, лежала запеленутой в своем хрустальном саркофаге. Сиги и влажная от томления осетрина... будто дышат ржавые с дымком бока... Где-то на самом краю стола возвышалась церквушка русского самовара. Ее золоченый бок смешно вытягивал наши лица. И без того нелепые на этом пиру...

...Острый нож в руках Толстого запотевал, погружаясь в душную мякоть свиного окорока. Отрезая нам сочащиеся розовые куски, он небрежно отбрасывал их на свежеподжаренный хлеб.

Плебей – пробует. Граф – ест.

Куда упирается потолок вкусовой гаммы у привыкшего есть покупные с добавлением мяса... котлетки?

Веками выверенное меню бедняка! Хлеб да каша – пища наша!

Пусти его в царство утонченных гурманов – предпочтет привычное с детства, испокон века знакомое. Только было бы хлеба поболее...

Другое дело – граф. Этот даже в стране провозглашенного равноправия должен быть по-графски. Вековая привычка. И тут уж ничего не поделаешь!

С каждым кусом толстовского бутерброда, казалось, густела кровь, притормаживаясь в арте и венах. Пока липким сиропом не застревала в маленьких тупичках капилляров.

Горящие глаза растапливали щеки. Ощутимо теплели скулы... Красные капельки кетовой икры взрывались во рту... Не всплывшие косяки – жертвы человеческого нетерпения...

Бочонки американского хлеба. Он поднимался из вспоротой жести, ноздреватой мякотью освобождаясь от сжатия.

Ароматы заокеанских пекарен! Как мало напоминал он наш – мокрый от недопека, колючий от мякины, замешанный, как саман, ногами, крохами выдаваемый по карточкам – хлеб!

Однажды на банкете в Кремле А. Толстой доверительно рассказывал Сталину про парижскую жизнь. «Гастрономия – французское слово... Ну а девочки... Если б вы знали – какие там девочки!..» Но, спохватившись, вдруг испугался и на всякий случай понес белоэмиграцию за ее упадничество и продажность. Но и после этого испуг не прошел. Напротив, усилился. И тогда он хлопнулся оземь бесчувственно пьяным.

«Увезите домой этого милейшего человека! – сказал Сталин тут же подскочившим охранникам... – И, ради бога, не уроните его по дороге...» Но едва его те водворили на сиденье тотчас подкатившего автомобиля – мгновенно очнулся. Пригладил свои редеющие волосы. И, улыбнувшись шоферу, сказал: «Ничего, дома доужинаю».

– Хотите, расскажу вам новый анекдот? Вчера придумал. И, не дожидаясь нашего поспешного кивка, Толстой стал рассказывать:

«Околица деревни. Тишина. Хруст снега под чьими-то ногами. Все явственней приближающиеся шаги. Стук в окошко.

– Кто там?

– Я...

– Кто ты?

– Да я, Глашка, Иванова дочь...

– Косого, что ли?

– Ага.

– Чего тебе, Глашка?

– Сито.

– А зачем тебе сито?

– Да батька в творог насрал!»

ЦДЛ... Смотрит Толстой с портрета. Что-то с трудом вспоминает. Я же много лет спустя напишу «Натюрморт»:

Лежит еще не сжеванная снедь,
Отбрасывая тень живым на радость.
Любая худоба счастливей рядом с ней
И хочет сытой энергией покраснеть
С чужими румянцами рядом.
Отбросив в пальцы дрожи жажд,
Прикрывши наготу тарелок голых —
Творит художник непочатый жанр,
Рисуя первозданный голод.
И не традиционные провалы щек
Слабеющей выводит кистью —

Он, не обедавший еще,
Рисует гимн костей,
С которых каплет мясо,
И глухарей с кроваво-красной рясой,
Салатов пёстрые ковры,
Хрустящие подглазья рыб,
Капканы блюд с примерзшей в сале птицей,
Салфеток накрахмаленную зыбь,
Глотков протяжный звук...
Еды неотвратимый принцип
Шевелит сны у самых его рук.
Палящих глаз протяжный жар,
Подернутый дымком чужих бифштеков,
Ожогом губ – котлет горячих ржавь,
Голодных утр пустынное нашествие...
О, бездонное небо несжаренных птиц,
О, всех океанов несваренная уха,
Неуемная жажда пить,
Не умеющая стихать,
Ваши краски познали крик,
Пропахшие рукой —
Познали свежесть...
Шрапнелью рыбьей позолоченной икры
Капельки утра брезжут.

Вынет этот стих редактор «Совписа» Егор Исаев – любимец партии и ленинский лауреат, поставит минус и скажет: «Теперь я понимаю, почему художники пишут натюрморты. Голодные – они тем самым утоляют голод». Нет, не случайно он потом будет кур разводить.

«Помогите Грину. Писатель умирает не столько от туберкулеза, сколько от голода. Организуйте подписной лист среди писателей...» – обратились в РАПП друзья автора «Алых парусов».

Не помогли.

«Пришлите двести похороны Грина», – телеграфировал сам Грин, наивно полагая, что хоть похоронные пришлют.

Не прислали.

«По какой категории будете меня хоронить?» – спросил как-то Светлов своих будущих похоронщиков.

«По первой, Михаил Аркадьевич. По первой...»

«Это сколько?» – полюбопытствовал он.

«800 рублей. А обычно – 300».

«Знаете что, похороните меня обычно, а разницу дайте сейчас».

Да, в жизни деньги нужнее.

«Понимаешь, босяк, – говорил, бывало, Светлов, – деньги как талант – нету так уж нету...»

ЦДЛ... Сюда приходил Борис Ковынев. Автор когда-то известной «Лодочки» (*Пьянствуют в складчину ветер и вода!..*), всю жизнь проживший на микояновских котлетах (в

которые по праздникам добавляют немного мяса), вырученных женой в обмен на ее донорскую кровь.

Поэт поначалу обласканный и нарочито забытый.

Перед смертью выпустили небольшую книжку его стихов. До конца не убедившись, что он мертв. А он возьми да напиши новые:

В какой-нибудь четверг или понедельник
Я, может, Байроном проснусь!

Но умер, к сожалению, безвестным.

Обычно после четвертьвекового молчания выпускают в свет стихи уже с того света.

Как испугался однажды, увидев книгу такого же молчальника Рюрика Ивнева. Слава богу, жив!

Безымянные откровения... Эмоциональность, не подкреплённая громким именем. В то время как громкое имя может обойтись за счет прошлых и давно пропитых успехов и суховатой констатации очевидных вещей (козел, козел, а козье вымя дает доход и кормит имя).

Крепостные мастерства – они всю жизнь несут свой крест. Не делясь его тяжестью ни с кем и не переваливая ее на чужие плечи. Несут, как правило, натошак. Братья во кресте, они так долго несут свой крест, что сами навечно врастают в него. Он и посмертно одиноко высится над ними, застолбив место, откуда надо продолжать их тяжкий путь.

Пастернак утверждал, что «дарование учит чести и бесстрашию, потому что оно открывает, как сказочно много вносит честь в общедраматический замысел существования. Одаренный человек знает, как много выигрывает жизнь при полном и правильном освещении и как проигрывает в полутьме».

Медвежьих углы. Урочища. Заимки. Наши крупные города... Освети их ярким светом. Выдержат ли его? Или заранее зажмурятся?

Самодумы их принимали, как выгоняли.

Потому что они дышат кислородом, не сцепленным с рыбьей водой социалистических аквариумов.

ЦДЛ – если собрать все искры, все проблески, все пяди во лбах. Всех умов палаты – приземистые и просторные, свободные и арендованные за плату. Если собрать киоски саморекламы и ярмарки тщеславия. Желанное и действительное. Всю мощь и немощь колдовства и реализма и свалить все в кучу – ни один археолог, каким бы пытливым он ни был, не разберет ни слова, ни места, ни эпохи этого странного порождения.

Олимп ЦДЛ... они липнут
Еще пока,
Но сколько их там, на Олимпе,
Носит зад для пинка!

Здесь когда-то выговаривала свои стихи Золушка русской словесности Ксюша Некрасова. Куда более классика красившая нашу поэзию. У нее и озеро лежало, «как блюдечко с отбитыми краями». Две тонкие книжки только стихов. Одна, изданная незадолго до смерти. Другая – после. Как ее едва слышный голос предостерегал наши лбы от «плевков кокард».

Как в воду глядел здесь, увидев въявь предчувствие своей смерти, Володя Львов...

Не водопады смертоносны, а неподвижные пруды.

Стоят нахмуренные сосны над белой гибелью воды.

На месте Храма Спасителя – в бассейне «Москва» его утопили «христовы мстители».

Блаженные... Бескорыстные служители беспартийному Богу Творчества! Разные и одинаковые в одном – вечно униженные нуждой. Как здесь легко быть бескорыстным!

Здесь, как, впрочем, и всюду, не приносят прожиточного минимума ни строки вдохновенные стихов, ни проза, отвечающая замыслам. Своим, а не чужим.

Родина – запаханное место в поле. Там место, где ты родился.

Родина – это место, где человек пытается стать счастливым.

Чтоб на могильной плите оставить оптимистическую надпись.

Родина – это купель, из которой выплескивается мятущаяся душа человеческая, пытаюсь слиться со всей Вселенной. Нетерпимость творца к пределам. Вырывание с корнем якорей...

Родина – первая точка отсчета.

– Здесь частые дожди,

Значит, раны болеть мои будут.

А в Африке солнце... – сказал мой товарищ – поэт Лучанский.

– Значит, проблема тепла решена. И не нужен этот плюс электрификация, – согласился я с ним, – там уже коммунизм!

Вечно замерзающий в своей бездомности, посреди высоких холодов Москвы.

Вечное перо – желание писать. Ломкий, нервный почерк – умения писать. Два бумажных мешка, набитых рукописями, – неразлучные в его многолетних скитаниях. А поверх стихов – лежит аккуратно сложенный, изрядно вытертый спальный мешок.

Этот человек не надумает жениться никогда. Денег на двуспальный ему не хватит.

Не хватит ему скоро сил даже переводить иноязычных поэтов на русский язык. Пожирающая сердце поденщина обескровит его вконец. И он будет отдавать свои собственные строки, вынося наверх листа чужие, ему неведомые имена.

– Такой жизни не хватает на собственные! Лучше отдать старые и получить возможность написать новые стихи... – скажет он однажды. Очередной раз выгнанный из снятого им сарая на окраине.

Паспорт шагреновой кожей – всегда оставалось прописки в обрез. И вечно надували его те, у кого он селился. Там, где не спрашивают паспорта, деньги берут вперед.

Он не мог постоять за себя. Впалогрудый и болезненный. С нарывающим от недоедания лицом. Точно рассчитывающий свои слабеющие силы.

Для полного счастья ему вполне хватало ста граммов сливочного масла и двух городских (когда-то французских) булок в день. Этот рацион он выверил на себе не однажды.

– Понимаешь, какие нечестные люди! Деньги взяли, а пришел ночевать – удивились и выгнали вон!

И мы шли коротать ночь на давно облюбованный чердак большого теплого дома. Стоящего в центре Москвы – на Большом Гнездниковском. Вспугивая уже ночевавших там проституток.

Заурчит мотор. Два буйвола вздрогнут на капоте минского самосвала. Тяжко стронется с места махина. Оставляя в душе Юры Лучанского горький дымок.

– Мне бы полсилы его, – шептал он, – и я бы такое вывез!

Он очень боялся под землю. Даже в метро. Где надписи «Выхода нет!» дополняли и без того растущую изнутри безысходность.

Как он теперь минует подземные пешеходные переходы?

Как переходит? Если он жив!

– Я бы хотела, чтобы ты потерял свои стихи. Все до единой строчки, – пожелала мне киевская поэтесса Лина Костенко, – и все, что вспомнят потом, это и будет настоящая поэзия! Тогда ты станешь истинно народным поэтом!

– Если следовать твоему принципу, то все сгинувшие вместе со своими стихами стали популярными в народе поэтами?

– Нет, я имею в виду уже известные стихи...

– Тогда зачем их терять? Хорошие поэты и так здесь потеряны.

– Я имела в виду – издать книгу из запомнившихся стихов. Вот это будет книга!

– Я не слишком полагаюсь на чужую память.

– Да, но у тебя есть право...

– Какое может быть здесь у поэта право, кроме водительских прав, если он в состоянии купить автомашину?

– Да... мне запретили даже собственные стихи провезти через границу... Сказали, что я не имею права... Обыскивали. Это так унижительно!

– А ты бы сказала – не трудитесь искать! Я валюту везу – в голове!

«И от удара пошли в глазах моих пятна.
Социализма, пятна родимые...»

Со слов пострадавшего

«Я ему по морде, а он не встает...»

Из докладной

– Поездом хотите умотать отсюда или самолетом?

– Это который вперед летит – в коммуне остановка? – И даже в ушах загремело. И будто увидел, как гремит на стыках-стуках «Столыпин» наш. Вот он сначала порожняком саданул сквозь всех здесь живущих. Железный оставив след. А назад пошел с нами. Эх, держава-паровоз под винными парами... Так сколько под шпалами нас лежит – человек человеку братьев?!

– Нет, я полечу самолетом, пожалуй. – Но это потом я скажу. Спустя, как штаны на таможне, значительное время, чтобы голым предстать на последний их обыск. А пока мой сосед утверждает, что не так поют они свою старую песню – «Наш паровоз вперед лети – в коммуне остановка».

– Да не в коммуне остановка, а – кому не остановка? Вот тебе. Еще как остановили. И всем остальным, кому не по пути. И кто поперек пути. И кто вообще непутевый, как я, к примеру. Я уж не говорю о тех, кто не подхватывает ее и срок хватает.

– Должен же хоть кто-то и на насыпи стоять, – сказал я, – уж хотя бы потому, чтобы на него сваливали все недостатки самого бесчеловечного строя. И вешали дохлых кошек уже только колеблющей воздух советской пропаганды, пытаюсь хоть как-то объяснить уродства и ненормальности советской жизни. Скоро тюрьмы наши будут прозрачными, чтобы сподручнее было показывать на наши родимые пятна. Совесть там и прочие предрассудки. Вот пятно вдохновения, к примеру, – целый экран... Родимые, нам никак нельзя без них. В стране, полным шагом идущей к коммунизму (знаешь, почему полным шагом? – штаны только спереди), – даже неурожай и стихийные бедствия есть следствие буржуазной несознательности отдельных землелепашцев и синоптиков, так и не научивших природу мыслить по-ленински. Хотя, как утверждает газета «Правда», – стихийные бедствия и прочие катаклизмы – это опять-таки удел их, а не наш. Если, скажем, разлилась река Уссури, то она конечно же затопила китайский берег. Хотя он намного выше нашего. Ураганы идут только в американскую сторону. Может быть, оттого, что у нас им нечего делать. Но что характерно – такая Богом оберегаемая земля, а хлеб покупаем на опустошенной. Нынче наш хлеб пахнет прериями. Да и вчера с легкой руки Нансена мы его откушали. И завтра, дай Бог его побольше Америке, – не забудет дорогу на нищий наш стол. Хотя кто, как не мы, может противопоставить Западу редкостное умение туго затягивать пояса. Вечное затягивание поясов, эта затянувшаяся манера носить штаны, чтобы

не походить на пузатых буржуев, – наше первейшее отличие от прочих беспартийно живущих на земле людей. Конечно же не умеющих так дружно и по команде урезать себя в самом необходимом во имя чьей-то абстракции, тупой утопии и бесящегося с жиру ханжества.

Вот они – в очереди. Здесь сколько людей, столько и очередей... И все в Мавзолей. Сквозь него выдается здесь хлеб насущный (ныне американский, как раньше, с тушенкой). Вот хлопнул бы Запад – хрен вам, а не хлеб! Вот врезал бы Запад по столу своему обильному – хватит, милейшие, по мавзолеям таскаться. Свой бы пора иметь! Глядишь, и проснется очередь. Может, вздрогнет.

Но вернемся к родимым пятнам.

Индивидуальность. Самобытность. Эрудиция. Оригинальность. Своя, ни на кого не похожая манера мыслить, где вообще-то мыслить строжайше запрещено, а тут еще – оригинально! Человек, обладающий этими редчайшими в наше время качествами, – что леопард на фоне тюремной стены. Так он, родимый, пятнист. Если же еще к этому прибавить его желание быть независимым. И жить в человеческих условиях (что вполне естественно для нормального человека) – тут уж тем более в глазах-дырках своих партийных погонщиков он будет сплошным пятном, едва ли выводимым. Тут уж надобно его выжигать каленым железом, несчастного. Что вполне успешно и делают вот уже шестьдесят лет.

Да и как же иначе? Ведь по логике вещей (а человек здесь – вещь самая легкодоступная), да и по самой сути советской власти – человек человеку – волк. Да еще пятнистый, если взять за основу его родимые, присущие капитализму, пятна. Так как же может он, матерый волчище, живший при буржуазных там свободах, капитализмах, царизмах (или родители его – все одно гены) – и прочих надругательствах (с их точки зрения) над бедным человеком, – тут же превратиться из хищника в агнца святого с красной звездой во лбу. Только объяви ему, что живет он отныне в новом, наконец-то наступившем, царстве свободы. Где само уже слово «товарищ», казалось бы, должно лишить его клыков и родимых пятен. И превратить не просто в человека, а в человека с большой буквы. В пример всему остальному человечеству, все еще пребывающему в невезении. Когда еще наступит для него новая заря самой счастливой эпохи?!

Нет, батенька, этот процесс долгий! – это сказано еще до Мавзолея.

И, засучив рукава, они стали чинить этот самый процесс. А точнее – процессы. Социалистическая пятновыводилка показала себя куда эффективней прочих, явно устаревших химчисток. Русскому и иже с ним народам перестало грозить вырождение. Вот разве что полное уничтожение, когда, не дожидаясь старческого маразма и полного идиотизма, он, что называется, молодым останется в памяти у изумленного человечества, так и не постигнувшего смысл этого дружного харакири.

Обрати внимание – они сразу же перешли на «ты». «А ты записался?», «А ты почему записался?», «А ты донес?», «А ты отдал?»... Всех, кто не желал панибратства и требовал, чтобы называли на «вы», даже посредством плакатов и лозунгов с непременным пальцем в глаза, – уничтожали без разговоров. Как, впрочем, и тех, кто снял перед ними шляпу и попросил буденовку. Этих, правда, чуть позже, но тоже уничтожили. Потому что сколько волка ни корми – он все равно в лес тянет. Вот и пригодились пословицы. «Волка ноги кормят». Это когда люди пытались спастись, перемахивая через флажки загонов, которыми их обложили куда плотнее, чем волков. Стали появляться новые – «Не жалея волка, от него нет толка». «Волка бить, что водку пить – одинаково приятно». «С волком каши не сварить»... Можно подумать, что ее сварить с большевиками! Когда им еще Запад подкинет крупу. И так далее. Кладезь народного юмора пополнялся на эту тему молниеносно. «Работа не волк – в лес не убежит». Лишь много позже изменят на – «Работа не жид – в Израиль не убежит». Короче – валили в партию – партиями и живых и мертвых. Без разбору.

Не было времени разбираться. Все боялись, что капиталистическое окружение, памятуя о своих христианских принципах, вдруг да вмешается и прекратит эту человекодавильню. Глав-

ное – поднять массы... И бросить их на произвол судьбы. Это было бы не самое худшее. Но их стали бросать в известковые ямы да в безвестные могилы колымских мерзлот. Их бросили в коммунальное скопище, дерущееся из-за куска хлеба. Представь себе катающихся в глубине своего падения. Представь себе копошащихся в грязи антропосов, над которыми так долго думал Бог. Этих венцов творенья, гордостей вселенских, долбающих друг друга по гордому профилю и шарящих очки, чтобы написать донос. Едва ли мы – его самые лучшие мысли.

– И это когда все цивилизованные люди давно уже пользуются пистолетом, – вставил сквозь стену сосед. – Кстати, коммунисты и сегодня еще кое-где вбивают гвозди в затылок. Вечно им не хватает цивилизованного оружия. Все по старинке – в морду... И почему у них лицо называется «мордой», даже когда это не морда, а лицо? «Поверни морду к стене!» – самая ходовая их фраза.

– Еще они его называют – «хавальник», – сообщаю ему сквозь бетон.

– Тебе не кажется, что коммунисты – самые отсталые люди на нашей планете? – вдруг спросил он, будто с неба упав. – И всюду они себе подобных выискивают. Вот сидит, скажем, в Африке кто-то на дереве, почесывая свои кокосы и посасывая свой банан... Так нет же – зовут под свои знамена, сами едва-едва обретая штаны. Или едет своей дорогой пустынный на верблюде. И знай натирает о кошму свой к небу вздернутый минарет (у бедуинов такая традиция есть – сплошь себя мозолить)... И поет о том, что видит. А так как он ничего не видит – степь да степь кругом. А точнее – сплошная Сахара на тысячи километров в любой горизонт. Эдакий пляж... без воды, – то песня его, как легко догадаться, без слов.

Так нет же – в хор приглашают, чтоб вместе с нами пел: «Партия – наш рулевой!» Ну на хер ему наш хор?

Бывший богоносец, а ныне знаменосец, охмуренный боем вечно праздничной пропаганды, как же прозябает наш, отрезанный от человечества, народ! А может, правильно, что отрезанный. Или думаешь – обогатит мир своим прибавлением к нему? Хотя нет. Новый Закон о Гражданстве – всех подряд считает своими подданными. Все – россияне. Даже если они и не россияне вовсе. Даже если и родились где-то и Россию отродясь не видели. Даже в самом страшном сне. Достаточно, что предок когда-то здесь жил. Это не что иное, как уверенность наших новых правителей в том, что каждый родившийся здесь однажды – уже навеки отравлен дымом Отечества. И по праву принадлежит к этому неповторимо пахнущему месту. До последнего своего колена. Даже если и не угорел.

– Мы позже узнаем – как он мир обогащает, – чуть было не заглянул я в будущее. И продолжал, будто не в стену, а с пользой для дела. – Вот уж истинно – битие определяет сознание.

И пошло-поехало наше добровольно-принудительное житие-бытие. И вот уже, окрепнув, не без помощи доброго и набожного Запада, наши новые рабовладельцы с кукишем вместо семи пядей во лбу стали не просто бить, а бить и приговаривать... к различным срокам. С непременным поражением в правах. Будто еще остались какие-то права у здешнего человека. Памятник только им умудрился остаться. Да из новых, может, кто поколений. Но пятна, родимые пятна капитализма, что микробы, продолжали лететь к нам через железный занавес. К нам, родившимся уже в советское время. Не часам бы его показывать, а западному телевидению (лупа времени... на что ее наводят?). О генах правители наши еще не имели ни малейшего представления, но догадывались – «Яблоко от яблони недалеко падает...» Хотя генетика, эта буржуазная наука, была запрещена. Прямо эпидемия. От пятен не было спасу. И партия, не покладая рук, продолжала бороться с этими позорными пережитками прошлого. Так и норовящими подмять под себя будущее. Надо добавить – светлое. Ибо так отчетливо было видно – что нас ждет впереди.

Росла, как никогда, индустрия чисток. И выросла до масштабов внушительных. Весь мир в состоянии почистить. Тем более сверху так он пятнист.

Сегодня, исходя уже из генетических предпосылок, хранители партийных риз наконец-то поняли, что человек неисправим. Сколько его ни уничтожай, а все одно – не по-партийному жить хочет. С присущими ему человеческими слабостями. Как-то – есть и чтобы не было государственной диеты. Одеваться по красивей и просторней. И необязательно с туго затянутым поясом. Напротив – и отпустить пора. Сколько можно ходить с перетянутой талией? А главное – хочет иметь свое мнение, наглец. И не то мнение, что в ЦК занафталинено, а именно свое, наконец-то проклюнувшееся сквозь шестидесятилетний шлак пустых и ничего не значащих слов. Ибо голова, как справедливо понял человек, не только для шапки ему дадена. Как, впрочем, и сердце не только для партбилета. Вот только нашего брата автора живопишущего еще не понимают. Полагая, что нам пошли впрок их былые и настоящие казни. Ну никак не желают понять – по причине, что нас они лучше всех воспитывали.

Так кто же ныне человек человеку?

Конечно же волк... Если он не в стае единомышленников. Где уже человек человеку – товарищ. И не просто товарищ, а уважаемый товарищ... волк. Другое дело – какой волк человеку товарищ? Да еще уважаемый?

А как же с позорным наследием прошлого? Неужели уже покрасили его красной краской и пятна исчезли? Новая историческая формация – советский народ, «чей адрес – не дом и не улица, чей адрес – Советский Союз»... И без пятен? Да что он, хуже других?

Да уже свои родимые появились. Вон как вылезают сквозь кумач (и не от стыда) – вон как лезут – свои, ни на что не похожие. Ни у кого не заимствованные – новоотечественные, советские. Куда более отчетливые, чем когда-то, – пятна социализма. Черные, надо сказать.

– Да, – говорит сосед, – моя бабушка, повидавшая мир, тоже говорит, что такой жизни, как у нас, – нигде больше нет. И быть не может. – Его единственная бабушка летала стюардессой. Бабушка-стюардесса... Это было нечто новое в авиации. Ну да ведь у нас вообще все не как у людей. Чего уж тут удивляться. – Зато меня почитают за маленького, когда я говорю, что моя бабушка – стюардесса. Ведь все стюардессы, как правило, ассоциируются у всех почему-то с молодухами с невероятно большим бюстом. Чего у бабушки моей давным-давно нет в помине. Она утверждает, что женщины у нас под старость – всегда далеко пойдут. «Вот видишь, и я наконец-то стала стюардессой. С 1900 года мечтала, когда впервые увидела самолет... Да и первый мой любовник был авиатор (так тогда называли летчиков)...» И еще моя бабушка говорит, что эти олухи нас всю жизнь будут кормить. А наши вожди при этом еще будут капризничать. Вот почитай газеты, скажем, русские за рубежом (они сюда попадают в кое-какие учреждения) – «В государственном департаменте и теперь преобладает мнение, что советский глава не согласится на встречу в верхах...» – Черным по белому сказано. А ведь куда справедливей, если бы там было напечатано, к примеру, так: «Вчера в Вашингтоне закончились (наконец-то!) – пятидесятилетние и бесплодные переговоры между американским президентом и советским лжепрезидентом». Ан – нет! Все толкуют. И заметь – чем больше вы, крамольники, над ними смеетесь здесь, тем серьезнее говорят с ними там. А ведь клоуны, каких еще цирк не видел.

– Как же ни к чему? – возражаю я. – Эти безусловно бесплодные для Запада переговоры привели отсталую и нищую Россию в ряд супердержав – себе же на голову мощным танком... с неба. Я не хочу сказать, что она и сейчас не отсталая и не нищая. «Каким ты был, таким остался», как поет народ с голодухи. Но танк-то – хорош! Да и не сравнить вчерашнего захватчика – с сегодняшним. И все благодаря чему? Родимым пятнам капитализма. Им – родимым. Это их не белым хлебом единым Кремль живет.

– Эксперимент социализма. Не знаю как кому, а мне он уже надоел, – сказал сосед через стену.

– Опыт погибать, у кого он есть? – отвечаю ему.

Не хлебом единым (по карточкам или без) жив и человек советский. Юмор доходят, он еще больше юмор.

«Здравствуй, племя младое, незнакомое!» – сказал Поль Робсон. А племя ему сразу загадку: «Залетная, певчая, на черных яйцах сидящая и вообще – веселая птичка. К тому же друг Советского Союза – и кто ж это к нам прилетел? И вообще тетя Дуня басом лучше поет...»

Газета «Гудок». Здесь работали когда-то знаменитые одесситы – Ильф, Петров и Олеша. И сегодня нет-нет да прорвется юмор.

Читаем – «Круглые овощи – круглый год!» А вместо шапки «Москва-Сортировочная» – «Москва-Сортировочная». Что, конечно, неправда – сортиров в Москве можно по пальцам пересчитать. Это тебе не Париж писсуарный.

Или любимая сумеречная и бульварная газета москвичей – «Вечерка»². Особенно задняя ее часть – «Разводы»: «Гражданин ГАДЮКА В.И., проживающий в Москве по улице Красногвардейский Тупик, дом № 8, кв. 197, возбуждает дело о разводе с гражданкой ГАДЮКОЙ В.В., проживающей там же...» И вдруг – «ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ АЭРОФЛОТА В НИЦЦУ!» Это рожденному-то ползать? Да еще в Ниццу – в самую что ни на есть за границу?!

По-моему, тут наборщики напутали что-то. Или скорей всего забыли к Ницце добавить всего лишь тройку букв. А впрочем, все понятно – задняя часть газеты. И добавлять не надо. Советский человек и не такие кроссворды может читать.

Тридцать сребреников. Тридцать три – возраст для распятия. Тридцать семь – самое время погибнуть великим поэтам. Библейская семерка и русская тройка – и вот она – смерть!

Троица. Триста лет Романовых. Тройка. Трешка. Трояк. Третий – лишний (когда не на троих). Нет, что ни говори, а тройка – любимая нами цифирь (троянский конь сюда тоже годится). Трибунал, где обязательно трое – один знает – чем, другой – зачем, а третий – как (ставить к стенке). Трехглавая Фемиды – грозная Фима с двумя попками-заседателями. Осталась тройка со времен Гражданской Рязни. Осталась тройка, пышно именуемая – Народный Суд... (раньше хоть был нарядный – в париках и мантиях, да и присяжные были вполне прилично одеты).

– Я случайно здесь, – сказал сосед мой.

– А я нет. Это Бог ткнул меня носом. Я всегда был подслеповат. И вообще, мне кажется, долго в цепях нас держали, как поют ветераны. Интересно, что это были за цепи, если вспоминая о них – поют? И как ты думаешь – закончилась Гражданская война или еще идет?

– По идее она и не должна прекращаться. Или вы думали, дав быдлу власть, оно будет дискутировать с вами? – вопрошает кто-то в голове бесчисленной и уже мертвой колонны. И заклинает: «Дальние потомки наши, не приведи бог вам отвратить эту свободу по-большевистски!»...

Отвели. Оглянись – за тобой не одно поколение топает.

Ночь. Где-то далеко сгорал черный воздух. Такой ценой отвязывался от земли. Но зарево полыхало недолго. Горизонт подергался еще немного и утих.

Едет народный судья в командировку на Запад. Мы тоже можем поехать за границу. Если не сидим. В отличие от заграничных туристов мы поедем без визы и загранпаспортов. Ужгород... Чем не Венгрия? Калининград... Чем не Германия? Курилы... Чем не Япония?

² Все газеты наши, как правило, находятся на бульварах – «Вечерняя Москва» («Вечерка») – на Чистопрудном. Там же «Московская правда» и «Московский комсомолец», «Советская культура», вечно кочующая, но не перестающая быть бульварной. «Литгазета» на Цветном. Там же «Литература и жизнь» – ЛИЖИ (и как можно тщательней!), ныне она «Литературная Россия». «Известия» – на Рождественском. Рядом – их приложение «Неделя» с «Неделькой». (До чего же любят у нас ласкательно непотребное называть.) Тут же «Челочка» (это где стригут малышей). «Гвоздик» – детская сапожная мастерская. Наверняка где-то есть поблизости и «Поносик» (это где им делают клизму). «Павлик» – первый наш гитлерюгенд («Я папочку своего, который в колодце спрятался, ни за что не выдам!»). И так далее.

Выборг... Чем не Финляндия? В Польшу, Румынию – пожалуйста! Львовы и всякие там Молдавии... Вот в Америку бы! Может, когда-нибудь поедем и в Америку, Северную ли, Южную – без разницы.

Доверчивость. Потом преступная доверчивость. Потом сверхдоверчивость. И, наконец, фанатизм. Ему тоже нужно учение. Вожди-фанатики. Слушатели. Маньяки, часами репетируют перед зеркалом свои истерики. Уж не затем ли, чтоб потом на Западе издавали их? Если не в состоянии заткнуть им рот, то заткните хотя бы свои уши!

Дураки никого не боятся. Никого... кроме белых халатов. Когда профессор с мировым именем плачет, как ребенок, и причитает: «Больше не буду!»... Вспомните это на Разрядке вашей. Когда хамелеонить не умеющих отъединяют от доброго имени и хотят ими напугать вас – оглянитесь на свою доверчивость. Она добавляет им срок. Глазея на респектабельность потемкинских деревень и задирая головы на сталинские небоскребы – троньте любую трещину на советском фасаде! И она обожжет вас криком. Сколько их – только политзаключенных? Одних политзаключенных. Совершенно одних.

Вам кричат, что Россия – маяк. Штурмуйте, держась за Россию! Равняйтесь на Россию! Поближе к России! Но маяк – это же куда не надо плыть. Это же предостережение.

Едет китаец, смертник. В чемодане два килограмма чистого, как слеза, урана. Везет из Европы первый китайский уран, явно втайне купленный. Едет, облучая всех вокруг. Улыбаются ему встречные – китаец в Европе! Так и умрут с улыбкой. Спешит китаец – Мао нужен уран...

Призрак коммунизма по Европе бродит.

Едет народный судья в командировку на Запад. Грядет судья с двумя заседателями на веселящийся Запад. Едет судить? Да, но в порядке обмена опытом. Нет, это еще не выездная сессия народного суда Советского района.

«Почему бы не помочиться на Крещатик?» – подумал трижды лауреат сталинской премии драматург Суров, приехавший однажды в Киев по делу. Он опустил штаны. Вышел на балкон центральной гостиницы и стал орошать головы изумленных киевлян.

Народ терпим к своим писателям. Народ любит своих писателей, даже если за них пишут другие, специально нанятые для этой цели люди. Но гегемон не уважает, если на него мочатся лауреаты, да еще на центральном проспекте столичного города.

Поднялся естественный переполох. В номер уже рвалась перепуганная администрация, поддержанная общественностью и милицией.

Делегация писателей Москвы, которую возглавлял Суров, запершись, сидела в своих номерах, пристыженная и напуганная до смерти.

– Так и побить могут! – опасался не менее известный, чем Суров, писатель, тоже лауреат.

Позвонили тогдашнему президенту Украины, тоже драматургу, Корнейчуку.

– Не трогать! Буду сам! – в панике крикнул драматург-президент и очень скоро приехал к месту происшествия.

Сулова едва уговорили открыть дверь. Умоляли извинить за вторжение. Помогли натянуть штаны и увезли, едва ли протрезвевшего, в местный Большой театр. Он должен был в этот вечер вручать сталинские премии.

Как-то уехал отдыхать Кривошеин – истинный автор суровских пьес. И не сообщил адреса. Готовящий к постановке очередную пьесу, уже заранее выдвинутую на соискание сталинской премии, – МХАТ попросил Сулова дописать одну сцену. Он сел и дописал. Все ахнули!

Вскоре Анатолия Сулова выгнали из Союза писателей. Оставив ему регалии, квартиру и дачу.

Писатели любят кино, особенно итальянское и чтоб в главной роли был Его королевское высочество Антонио Флавио Фокас Непомучено Де Куртис Гальярди герцог Комнин Византийский, короче – знаменитый комик Тото. Вот он настоящий неореализм – король и шут в одном лице. Вот где смех побеждает власть. И как же хорошо, когда властвует смех. Это несравнимо с тем, когда над тобою смешная власть, к тому же не понимающая юмора.

Веселое было время. Вокруг толпились упитанные музы и в воздухе не наблюдалось присутствия высших сил, но зато на сцене ЦДЛ тогда шли комедия за комедией.

Не успел затихнуть скандал с министром культуры Г.Ф. Александровым и компанией, надо сказать теплой, так мило растлевавших девочек-балеринок, как вдруг, будто гром среди ясного неба, – случилось грехопадение непорочных секретарей Союза писателей. Отцы морали, блюдущие чистоту партийных рядов, менторы и нравоведы молодежи среди бела дня, рядом с орденосным Союзом писателей – устроили публичный дом на неполную дюжину коек. Правда, контингент был не ахти грамотный в вопросах любви, и коллектив следовало бы увеличить. Тем более Литфонд охотно предоставлял для этой цели квартиры. Да кто-то, видно, не утаился. Слухи обросли фактами, и дело пухло шлепнулось на стол партийного бюро.

Кочетов принес справку, что он импотент. Сафронов – тоже раздобыл документ, не делающий ему чести. Удивительноносому Симонову припомнили заодно осечку его нюха с Дудинцевым, ведь оплошал, бедняга! Но ввиду того, что он уже проходил по делу подобному вместе с Г.Ф. Александровым, – делать нечего – отпустили с покаянной.

Но мораль восторжествовала. Женщин в ЦДЛ стали пускать ограниченно, соблюдая осторожность на случай новых «литературных связей», да Куприянова, одного из незадачливых «бандерш», выговором наказали.

Нюх и ветер взаимосвязаны. Куда подует ветер, туда бежит и нюх. Бдительность партбюро должна исключать даже малейший насморк. Потеря обоняния – профессиональная травма. Сколько соглядатаев раньше времени ушло на пенсию?!

И тем не менее человечество никак не может предупредить свои ошибки.

Жил-был парень на нашей улице. Он полюбил девушку. Дело шло к свадьбе. По какой-то причине расстроился их союз. Видимо, родители невесты отговорили свою единственную дочь выходить замуж... за ассенизатора.

«Ах, значит, вам не нравится, как я пахну?!» И он подогнал однажды к знакомому дому свою машину. В окно полуподвала, где жила со своими родителями бывшая невеста, вставил шланг до верха наполненной цистерны и отпустил ручку сброса.

Долго пахла наша улица его профессией. Выйдя из тюрьмы, говорят, он стал парфюмером.

До чего же изобретательно неудовлетворенное самолюбие! Как предприимчивы маленькие люди, мстя за свою неполноценность!

Если бы англичане в свое время обласкали Маркса – не было бы марксизма. Ну что стоило напечатать безвестного журналиста?

Какой-то умник (а может быть, даже и сам Черчилль) снял Антанту с обескровленной России. Подсчитав, что, завшивленная и голодная, она на ближайшие сто лет неконкурентноспособна. Да и сама дохнет.

Ленин больше мстил за повешенного брата, чем верил в социализм в нашей отсталой стране. Хотя интеллигенция ненавидела царизм не меньше.

Если бы Илья Чавчавадзе похвалил стихи семинариста Джугашвили и не выгнал бы его, посоветовав заниматься лучше политикой, чем поэзией, не было бы Сталина, вырезавшего прежде всего интеллигенцию своего грузинского народа. Не забыв, конечно, и другие нации.

Если бы Шикльгрубер стал просто актером в простом драматическом театре, не было бы драматического театра Второй мировой войны, уничтожившей 50 миллионов человеческих жизней.

Говорят, бесноватый Адольф велел возить в клетке несчастного еврея-режиссера, не взявшего его однажды в театр. Чтобы вся Германия видела негодяя, отрицавшего актерский талант у фюрера.

Не исключено, что на том свете, встретившись снова, Гитлер спросит беднягу: «Вот видишь, что ты наделал?»

На случай атомной войны мы под Рязанью будем прятаться от бомбы. И будешь ты подземным, ЦДЛ!

Один карлик померил по себе потолок. 2 метра 50 сантиметров. Достаточно! Умер. А все еще строят по нему.

Надоело упираться головой в пределы!

Если пресса держится на трех китах – секс, политика, убийство, то Литература держится на честном слове.

Было бы идеально – соединить этих трех китов в одно чудо-юдо: Мужское начало в творчестве. Плюс убийственная ирония. И никакой политики.

Я лично за такую Литературу.

Но здесь она – не церковь и от государства никак не отделима (хотя, бог ты мой, как же опекается здесь православие!).

Политика отвлекает писателя. То жгут его книги. То его самого в шутовском колпаке волокут на площадь. Или непублично на дыбу вздергивают.

Политика мешает писателю. И он вынужден близоручко отмахиваться от нее. Не умея быть политиканом, а умея быть только самим собой.

Мудрый в книгах, он, как правило, неумел в общественной жизни. Индивидуальность хороша в творчестве. Но не в стадных проявлениях иезуитства.

Жанр заявлений, объяснительных записок, заступнических писем...

Творец, как любой нормальный человек, не пройдет мимо, если на улице бьют женщину. Естественно, он заступится и за безвинно погибающего и отнюдь не посчитает это подвигом. Так, по крайней мере, мне кажется.

Кабы по улице шла мадам Демократия... и кто бы ее обидел?!

Но она у нас невидимка. Как же за нее заступиться?

Творчество – жанр куда более продуктивный, чем писательство... заявлений.

Истинное творчество – здесь писатель заступает за все человечество: свое и заграничное, будущее и прошлое, настоящее и все еще нуждающееся в защите от... людей.

Здесь его позиции ясны. И ему не надо задавать вопроса – кто он? Как это нередко делают с нашим братом, пишущим больше заявлений, чем книг. Хотя, повторяю, заявления нужно писать тоже.

Быть художником настоящим... Да уже одного этого ему с лихвой хватает. Вон Прометея орлы загрызли, а его заели комары.

Говорят, мы здорово пишем.

Мы – с донорством, а к нам – с вампирством.

Не надо спрашивать, кто он по убеждениям. Какими философскими категориями он мыслит. Какую веру исповедует.

Он должен исповедовать человечность, и только ее. Он должен исповедовать свой дар. И если он от Бога – значит, Бог поверил в него. Это его призвание. И это его гражданский долг, если хотите!

Рост его предопределен самим Создателем – он должен быть выше вер, философий и политик...

И пусть пласты его выдержки рвутся от нетерпения, потому что ему многое надо успеть сказать. Выдержка – это не другая сторона стремительности. Тут едва ли сдержат темперамент, если есть что сказать! Да еще умея сказать это здорово!

Биография сама по себе накаляет строку. Личность, и только личность должна всходить сквозь нервную торопливость самобытного почерка. И чем нетипичнее, тем лучше.

Так что не надо называть подвигом естественное отправление художника – писать. Честность в этом деле должна быть чем-то обычным. Как нос на лице.

Так сколько надо гражданского мужества на такую огромную страну, как Россия?

Здесь мы мужество почему-то путаем с честностью. Может, оттого, что она нетипична и выглядит донкихотством среди носов по ветру, этих ветряков с их вечной жаждой ветра в свои мельничные крылья! Есть ли личность в уже написанном?

Будет ли она в только пишущихся произведениях?

Если в мире кто-то в состоянии увидеть это – наше дело не так уж плохо! Значит, все же интеллигенция следит за этой вечно падающей Пизанской Башней Духовности. Тем самым она снимает с повестки дня извечную проблему – непризнанный писатель. То есть непонятый или непонятный писатель. Будто писатель тем и занимается, что примеривает маскарадные маски.

К слову, о личности.

Еще Пушкин писал: «Гений и злодейство – вещи несовместные».

Бедный Сальери. И по сей день оправдывается. Вот уже сколько веков.

Тень неприятия витает не только над ним. Люди поталантливее его и более заметные в своих эпохах не принимались человечеством. Видимо, в них поначалу побеждал иной инстинкт, куда более живучий, чем бескорыстное творчество.

Кому не хочется быть понятым? Но только при одном непременном условии – не пошевелить и пальцем, чтобы изменить себя в написании. Нужна равнозначность зарядов – писательского и читательского. Отдающего и берущего. А то мы иногда ведем себя, как шлюзы.

Я – выпустил пароход. А читатель все еще держит воду. Не умея мне довериться.

Чего боится? Ошибки? Так ошибки таланта тоже поучительны. Анкета моя чиста, как девственная совесть, моя прабабка не служила даже в конной полиции. И я, в отличие от монахов, не плачу за бездетность. И вообще, чтоб покататься друг на друге, нам не понадобится колес.

– И откуда вы такие беретесь?

– С неба попадали. А может, это когда-то повешенные срываются? У нас страна чудес. У нас все может быть.

– Что это ты при параде? Или пришел кого хоронить?

– Да вот на Запад съездил.

– Ну и как?

– Попросили показать свое творческое.

– Что, прямо так и попросили – «Покажи-ка нам свое творческое личико!»?

– Почти так.

– Ну и как – показал?

– Пришлось.

– Да не тяни – дальние-то что было?

– Ну, говорят, на такое лицо обычно надевают кальсоны. Или, как минимум, трусы.

– Значит, не понравился Западу?

– А Запад – тебе?

– Да видел я его в мебели и в обуви, то есть в гробу и в белых тапочках.

Это почему же не в тоге шествует Платон Сократович Афанасьев? «Волосы дыбом. Зубы торчком – старый мудака с комсомольским значком»³.

А вот идет автор эпитаграммы: «Бескультурен, как Урин...», в свое время подравшийся с Тендряковым за право первому помочиться на парапет американского посольства в Москве. Это он позже организует «Глобус поэтов». Вот помочится и организует... А потом плюнет на одну шестую его и эмигрирует – не тот зал в ЦДЛ для творческого вечера дали. Обещали Большой, а дали Малый.

И полетел он с чучелом Земли под мышкой... Объединять всех поэтов нашей планеты под свою прическу.

Когда-то Урин-патриот, ныне уже в Нью-Йорке их объединяет. Говорит, что нашел новую и вполне уникальную форму чтения стихов, располагая их в зависимости от обстоятельств – то в виде звезды, то свастики, то креста, то могоендойвида.

Слышал новость – Хикмету жену умыкнули. В стихах своих ее возжаждал. Затосковал. Вот и пошли навстречу поэту читатели чуткие. Привезли. Предварительно выкрав, конечно, а она не нужна. Другая уже есть, молодая, как верба...

– Какой он веры, помимо, разумеется, марксистской?

– Туликовой.

– Но он же не туляк, а турок.

– Чудак, Вера Туликова у него жена новейшая, а также соавтор. И он ей очень верит. На ней и скончался. Прекрасная смерть, не правда ли?! Так что старая жена не нужна ему в полном смысле этого слова. Примчалась, а он у нас в ЦЭДЭЭЛЕ лежит.

– Помнишь, у Есенина, «Никогда я не был на Босфоре...»?

– И я тоже. Кто б догадался меня похитить туда.

– Наши умеют похищать только оттуда. Кстати, а как умыкнули-то?

– Ну, это просто – вышла в море на яхте своей прогуляться. Всплыли и цап-царап.

– Да не может быть, чтоб подводные лодки у нас всплывали.

– Когда надо, всплывут, хотя, конечно, подводная лодка, она должна под водой находиться. На то она и подводная. Но если надо – всегда появится. И уж, естественно, не затем, чтоб спросить: «А вы не знаете, как проехать в Рио-де-Жанейро?» Так что не плавай даже пешком – выловят. Они-то потом вынырнут, а вот ты – ни за что...

– И кто сказал, что мертвому ничего не хочется? Так и поверил, чтоб даже курить не хотел. А уж выпить... Вот разве что женщину не желает...

– Это почему же?

– Рядом лежит.

– Что нового?

– Да вот новую повесть накатал.

– Ну ты даешь, прямо Катаев. Белеет парус одинокий. А ведь пора бы и покраснеть.

А с этим просто невозможно рядом стоять. Всю жизнь ел людей поедом, а вот теперь страдает отрыжкой.

– Посмотрев фильм «Война и мир», я перечитал одноименный роман. И понял, до чего же плохо писал Толстой!..

– Конечно, было бы лучше, если бы Бондарчук написал этот роман, а Толстой бы его экранизировал.

³ А. Безыменский.

– Я видела во сне – ваш муж жаловался, что вы не приходите к нему на могилу.
– Врет! Была вчера. И как ему только не стыдно?!

ЦДЛ... Кого что волнует.

– Как вы считаете, Петр Первый побрил бы Маркса?

– Самсону Далила власы удалила...

– Что вы говорите!..

При помощи оптимистов и остроумцев весь мир с улыбкой расстается с прошлым.

А мы?

Улыбаемся. И с прошлым не расстаемся. Оно на много лет вторглось в наше настоящее.

Неплавно переходя в наше будущее.

Суждено ли нам с ним расстаться? Если суждено, то – когда?

Не Пушкин, но жалко, – говорю, – вот еще один уехал. Даже упирался в аэропорту и рыдал несчастно. Будто кто его, как Буковского, увозил. И как же трогательно он потом напишет:

«Я умер там и не воскресну здесь...» (Запад имеет в виду). И тем не менее повез свой труп возить по границам.

Ладно прозаики, а поэтам там нечего делать. Иностранцы... Они слишком на другом языке говорят. Это я очень скоро пойму.

Поэт уезжал в четыре ночи. Оглянулся на место, где столько лет жил. Неслышно скользнули на черных балконах чьи-то нечеткие тени. Это жены украдкой вышли его провожать. Чужие.

Белый платочек у глаз вечно плачущей памяти. «Когда я вернусь?»

Никогда. Встретимся в Риме и обнимемся напоследок.

Они делают все, чтобы мы уезжали – кто куда, а уехав, не возвращались.

Если в небесное царство входят нищие духом, представляю, как там весело.

В. Набоков

– Когда б Земля затормозила, с нее бы сбежали, как из России, разреши им рвануть оттуда, – заметил кто-то сверху.

– Напротив – надо увеличить скорость Земли, чтобы раз и навсегда покончить с бегством, – заключил второй, будто ведал переселением душ.

Небесная инспекция, не иначе, – подумал я, когда бетонный потолок моей камеры осветился каким-то радужным светом. На фоне которого плевков тусклой лампочки и вовсе растерся.

– И что бегут... И что им не сидится на месте?..

– Да гляньте, какие тюрьмы у нас, господа! Да и что человеку сидеть на одном месте вкопанным, когда он так любопытен! – кричу я им в серебристое брюхо. – Это вам хорошо. Это вы – в своей тарелке. А нам – не приведи господь где!..

– Вам везде будет плохо. Вы – не от мира сего.

– И что б не попробовать! А – вдруг!.. – продолжаю кричать им.

И снова их как не было. Улетели за тридевять неб. Везет же людям. Или не людям?

– А хотел бы ты, чтоб тебе повезло быть какой-нибудь космической таракашечкой или еще каким осеглазым и винтоносным и вот так прилетать сюда? – спросил я соседа, потрясенный посещением инопланетян.

– Хотел бы, – без заминки ответил он, – только фиг бы я сюда прилетал.

Это уж точно. Мы ж не от мира сего...

Когда и кого это осенило – назвать людей, что-то смыслящих в небесной механике слов, существами не от мира сего? Будто действительно они пришельцы. Тогда – откуда? Где этот мир сей, где они якобы прописаны? И за какие такие грехи в таком случае их поперли оттуда в мир этот, отчего-то проклинающий их на чем свет стоит – только за то, что имеют обыкновение уходить от суеты этого мира. Отключаться и видеть поверх чьей-то близорукости. Йоги стоят на голове. Говорят, что так они куда прочнее ощущают землю. В отличие от тех, кто просто ходит на голове, а устав – на нее садится. Свою ли, чужую – значения не имеет. И едва ли кто замечает подобные пустяки. Чего не скажешь о не от мира сегодняшних. Их-то очень даже замечают. И почему-то всегда стараются отправить куда подальше, словно они и впрямь – нежелательные иммигранты, только непонятно откуда. При этом находятся люди, которые им еще умудряются завидовать. И это в мире, настолько рациональном, что любой из них покажется нищим, разве что не просящим подавание. Да и когда еще он бросит шапку на тротуар. Конечно, по-своему они счастливы. Ну, например, умением запросто передвигать горизонты, как устаревшую мебель. Или обращать рассеянное внимание окружающих на невидимые миру слезы. Исходя, быть может, из того обстоятельства, что даже невидимые слезы не к лицу человеку. По себе знаю, как неумоги, когда плачут люди. Особенно в Мавзолее. Только и успокаиваю себя, что это заgrimированный смех. Как в цирке, когда коверный ревет в три ручья, а все хохочут. И мне еще думается, что они плачут там от радости – наконец-то убедились, что лежат на месте, кто раз и навсегда отучил их смеяться. Правда, второй валяется где-то рядом, в отличие от первого, в стеклянном гробу, чье дело, как тело, как ни в чем не бывало гуляет себе по стране. Как по кладбищу. Усугубляя привычную опасность проживания в ней и в сопредельных европах и азиях. Особенно тяжело опять же им – не от мира сегодняшним. Как же их ловят в те недолгие часы, когда они в свободное от работы время опускаются на грешную землю. Как же их ждут! Так, возможно, ждали во время войны десант диверсантов. На которых была все же каска (а не просто лоб, ненадежнейший шлем мыслителя). Зад тянул их к земле. Эти, напротив, рады уйти куда подальше или куда глаза глядят. И не для того, чтобы быть выше всех, как здесь принято считать, исключая космонавтов, которые у нас причислены к лику святых, а чтоб с ума не сойти. Потому и витают в своих эмпиреях.

Если глянуть реалистически – жизнь их далеко не сказочна. Но это потом мы глянем реалистически.

И вот, живя как бы там. И очутившись в силу необходимости здесь. И не просто очутившись, а стремительно упавая сверху вниз, что само по себе уже чувствительно. Они как бы забывают напрочь (видимо, из-за своего возвышенного и продолжительного отсутствия) все неудобства своей земной жизни. И невзирая на то, что им тут же напоминают о ней, – восклицают: «Как же прекрасен мир!»

Это может сказать только человек не от мира сего.

Как скажет американец: «Я готов тебе построить мост даже там, где нет реки...» Хотя эта поговорка и претит его врожденному рационализму, допускаю, вполне может его построить там, где он не нужен. Поначалу.

У нас тоже создали министерство культуры, и не одно, невзирая на полное отсутствие ее как таковой. И в этом отношении мы тоже, как американцы, строившие мосты над сушей. Потом, правда, они их приспособили как эстакады для развязки своих многочисленных дорог. У нас же пока министерства не у дел. Или, мягко говоря, работают не в полную силу – культто есть, а вот...уры еще не хватает. Хотя все творческие союзы страны не покладая членств создают ее изо дня в день и пишут за себя и за того парня (ныне у нас принято и за погибших когда-то работать), а все одно, народ отчаялся спрашивать – когда ее выбросят? Хотя все еще очередь с ночи за ней занимает (правда, сюда его еще и сельскохозяйственные культуры манят, которых у нас почему-то тоже в обрез). Один балет и пляшет. Выделявает Петипа,

когда не гопака выкаблучивает. Но это не для труженика показуха. Да цирк медвежий еще на уровне мировых стандартов (за что медведям спасибо). Тоже где-то по границам шастает и рыло свое не кажет. А если кажет, то редко – какой навар с соотечественников? Что с них взять? У них не то что доллара – рубля порой не сыщешь. Одна только песня с пляской имени Фрейлехса-Пятницко-го – местечкового еврея когда-то, надевшего русскую красную с петухами рубаху и научившего советского человека петь и плясать (за короткий срок разучился, бедняга). Другое дело, что петь и под чью дудку плясать?

Ну, насчет «что петь», тут поэты-песенники всегда помогут. И под что плясать – композиторы посоветуют. Они всегда на подхвате. Музыкальная шкатулка их ЦДЛ – дом на Миусской, всегда к вашим услугам. Да и в журналах теплится моча не только Лебедева-Кумача. Опять же есть на что перекладывать их всенародные песни. У нас народ выносливый. И не такое еще слышал.

Соловьи седые и не седые, просто соловьи или соловьи-разбойники, поселясь в этом вечно трезвонящем доме, прежде всего попросили партию правительства утяжелить по возможности стены. Уж как их звуконепроницали, а все одно слышно. Хочешь не хочешь, а украдешь. Мелодия сама свороваться просится вместе с «рыбой», то есть с текстом вместе. Текст-то черт с ним, он всегда одинаков, а вот мелодия все же разнообразится иногда. То классики выручают. То презренный Запад какой-нибудь шлягер подбросит. Короче – получается, что дом этот более или менее удачной мелодией на всех и живет. А каждому хочется спеть именно свою песню. Кстати, новая песня – это хорошо забытая старая. Взять, к примеру, «Катюшу» Блантера – чуть ли не госгимн государства Израиль. Потому и не госгимн, что вовремя уволовал Матвей (уж как его там по матушке?) эту очень старую еврейскую мелодию. Спасибо, что хоть «Хаву Наталью» оставил. Или его же вальс «В лесу прифронтовом» – был немецко-фашистским вальсом, а стал трофейным и блантеровским (во всеядный!). Не случайно же у нас за двух Моцартов битых одного Матвея Блантера дают. Когда принимают пластиночный бой.

Вот Соловьев-Седой с рахманиновскими тактами, не целиком спертыми – еще куда ни шло. Бывают у нас и стеснительные авторы. И если уж берут чужое, так хоть меру знают. Но и они ее потом теряют, и всему виной – стены. Правительство, правда, посоветовало еще и матрасами рояль закрывать. Не помогает. Песня хоть и малый жанр, но риск большой. Напропалую воруют. И правительство разводит руками.

«Ну, тогда не взыщите, что песни у нас все до единой будут как одна...»

«Ничего, так даже лучше – народу легче запомнится, – сказали вожди песнеписцам, – главное, чтоб песня была нескончаемой. И тогда она никогда не будет старой. А уж репродукторы погромче мы всюду повесим. Над каждым селом. Глухой услышит. Мы ведь тоже, „как подругу, родину любим свою!“...»

– Ты не о них, а о нас пиши, раз писатель. А то все вы писатели на словах, – однажды осмелился кто-то из зала (провокаатор, наверно).

Не на словах, а на нарах. Старый признак, если слово – дело. Слово, породившее дело... с тесемочками. Личное, пока есть лицо.

«Писатель на словах»... Хорошо было первым. Когда слова были первыми. Не захватанными. Не затертыми миллионоусто и миллиардократно. У художника – свежие краски. У писателя – старые слова. Всю жизнь заставляет звучать их по-новому, переплавляя в своих камерах сгорания, будто они железные, эти камеры, а потом граня и оттачивая (отвечать за них будет позже). Какую энергию раскрепостили эти слова? Кого пригвоздили и кого осчастливили?

Делать слова – нехитрое дело. Вот если эти слова переделывают все на своем пути (да не эти, что висят на заборах, вокзалах, мостах, домах многоэтажных, закрывая окна и воздух. Вдоль и поперек всей страны Советов – слова, слова, слова, будто застрявшие чьи-то пустые дыхания. Будто кто-то отчаялся убедить словом, сбросил с горы его материал и пытается хоть

эхом его докрикнуть). До чего же емкое определение – «писатель на словах». Сколько тысяч писак оно уничтожает сразу. Раз – и нету, будто землю побрили.

Свободные профессии... Какие они свободные! Скрипят что-то и вякают. Деятели, чье приспособленчество мало смахивает на героизм.

Он перекрестил его могилу, усыпанную поверх казенных цветов живыми, принесенными просто людьми, просто читателями. Он стоял поодаль, не единственный в мире изгнанник, нобелевский лауреат. Его появление на похоронах Твардовского заклинило и без того скрипучее колесо этой невеселой процедуры, насторожив и без того перепуганных писательских секретарей. Привыкшие к любому незапланированному проявлению недовольства, избегая показываться на людях, по *букве* инструкции разрабатывая любую операцию, будь то похороны или просто собрание, они всегда чего-то ждут. Явно преувеличивая в окружающих способность протестовать.

И тем не менее Солженицын, сам того не ведая, смешал ряды пришедших хоронить поэта. Немногие из начальствующих писателей отважились приехать на кладбище. Достаточно нанервничались в ЦДЛ, куда посмел заявиться этот одиозный изгнанник, только и ищущий повода продемонстрировать свою одиозность. У могилы в непролазной толпе провожающих и просто любопытных стояли только те, кто в обязательном порядке должен был находиться до конца, представляя официальный коллектив московских литераторов.

Партийные писатели мгновенно отступили подалее от гроба на случай, если Солженицын подойдет и встанет рядом.

Беспартийные, перемигиваясь, сжираемые любопытством, придвинулись поближе, заприметив на всякий случай пути к отступлению.

Кто-то спросил одного из них: «Какой из них Солженицын?» Тот, побелевший от страха, громко, чтобы все слышали, крикнул: «Что вы! Я не знаю такого писателя!»

Туристка из Западной Германии, оказавшись случайно на похоронах, тихо сказала спрившему: «Я вас понимаю... Мы тоже пережили нацизм».

Один-единственный раз пришел я в «Новый мир» к Твардовскому. Положил ему на стол пачку своих стихов. И, не слишком веря, что он их напечатает, полюбопытствовал: почему он печатает, как правило, средние стихи в отличие от хорошей прозы? На что Твардовский ответил, что прозу он понимает меньше, а за стихи его бы били больше.

Мою подборку он прочитал при мне. Обычно он делал это дома. А не при авторе, сидящем над душой. Прочитанные стихи легли в две пачки. По мне хоть левую, хоть правую – все одно было бы не худо напечатать. Потом он соединил обе пачки моих стихов и вернул мне.

– Почему вы не пишете поэмы? С вашим талантом да с колокольным бы звоном въехать!

– Я бы ограничился бубенцами.

– Да нет, я серьезно. Вот здесь, – и он ткнул в мои стихи, – есть все для написания поэмы. И не одной. Густо пишете! Но зачем себя втискивать на малую площадку стихотворного жанра? Я признаю поэмы! Только в них, как на столбовой дороге, разгуляться можно. Пишите поэмы! Вы сможете! Или повествовать не хочется?

– Если мне захочется повествовать, я прозу начну писать.

– И то резон, – откинулся в кресле Твардовский.

– Тогда, кстати, у меня будет больше шансов у вас напечататься.

Сейчас, когда я пишу свою первую прозу, Твардовского уже нет в живых. Отлученный от журнала, он спился и умер, да и будь он жив и стань редактором снова – все одно не смог бы напечатать это.

Смотря в зеркало, не каждый видит свое имя.

Лев – царь зверей. Не умеющий спрятаться среди грызунов.

Его именем нарекали бесстрашных. Только при львиной гвардии сильные мира сего могли спокойно спать.

Льва рисовали на гербе фамильном. Он становился эмблемой державной и реял на флаге не одного государства.

Человек явно завидовал льву, нещадно истребляя его или неволя.

Лев не бреет свою волосатую челюсть. Но он и не сидел на дереве, как человеческий предок.

Неспроста завидует льву человек!

Как часто не львиное – людское сердце мяукает при одном лишь упоминании тишины и довольства. Да и дрессировке царь природы поддается куда легче, чем царь зверей.

В союзе писателей Грузии, в старом особняке на улице Мачабели, на втором этаже перед кабинетами секретарей – стоят чучела льва и тигра.

Наконец-то найден символ советского писателя!

– Кацо, почему ты не пишешь стихов? – спросил шофера такси Галактион Табидзе.

– Батоно, для этого надо знать что к чему... И талант врожденный – тоже необходим...

– Э-э-э, кацо, Леонидзе пишет, Чиковани пишет, Нонешвили пишет, и Карло, и Мурло – все пишут! Почему ты не пишешь стихов?..

Сам он умел писать стихи лучше всех в Грузии. Великан бородач – он выбросился из окна на мостовую, разбившись насмерть.

Силуэт его присыпали мемориальным песком. Газыри на груди у кавказца. Протезные пули вместо настоящих когда-то. Форма одежды – национальная, а содержание?

Носил мужчина только оружие. Ныне хозяйственная авоська и возможность не связываться с соседями – дорожке всякой обидности. Сбегал в магазин. Накормил детей. Вымыл посуду. Постирушечку затеял. Шарфик жене связал к Восьмому марта. Теперь сидит и мучается – а вовремя ли придут месячные?

– Я понимаю, что мир наш – смешанная группа хищников – львы и гниды. Но это не значит, что они должны быть на равных. Я за демократию, но раздельную, – сказал мой сосед.

ЦДЛ хочет признанья. От натуги скрипят глаза... Это когда-то считалось высшим кошунством – под твореньем своим ставить имя свое.

Певцы безымянных сказаний и саг... Бояны-гуслепевцы да лирники – праотцы гитаристам тоже длинноволосым, гомеры несчастные, сколько б вы запросили за свои бессмертные вирши, когда б вы глянули в гонорарные кладовые наших нынешних классиков?!

– ...Вы читали «Сильные духом»? – всплыло чье-то не-помочившееся лицо.

– Да это что!.. Вот я вчера написал поэму о любви. Так отныне и навсегда эта тема мной закрыта как в русской, так и в мировой литературе. Все – глухо! Лирикам больше делать нечего... В этом мире лирики нынче безработные...

– Поздравляю... Это ж надо ж!..

И впрямь блестящий поэт. Блестящий от пота. Настороженно шевельнул ушами. Сегодня он был попросту – не в лаптях.

– А я имел видение, – пискнул завистливый кто-то.

Вскрытие покажет, кто из них значительней. Вот кого раньше вскроют? Как консервную банку... сильную духом.

– Вы посмотрите, кто к нам приехал! Наш дорогой иностранный гость!..

Раньше в России всех иностранцев независимо от их национальности называли «немцами». Немец – немой, т. е. не понимающий по-русски. Теперь мы, слава богу, различаем их.

– Вы только посмотрите, кто к нам приехал!

Дакроновая тень скользнула по испещренному автографами стечению двух стен. В этом огороженном пространстве ныне молочный бар. (ЦДЛ конечно же борется с пьянством.)

Я смотрю на иностранца и не вижу привязи на его ноге. Даже обрывка. Свободно передвигается и явно уверен в себе. Ему не надо отвечать за собственные слова. Его не посадят в тюрьму. И я подумал – как выгодно отличается наш писатель там от их писателей – здесь! Ему не надо просить за коллег-политзаключенных.

Да, хорошая штука – свобода! Чтоб оценить это, надо сначала пожить в России!

Воспалительный цвет праздника. Красен юбилеями ЦДЛ.

Сегодня в честь пушкинского дня ангела банкет для Дубельтов и Бенкендорфов, Булгаринных и Гречей...

Будет весь цвет Литературы нашей и «Современник» тоже. И театр партийного Петрушки...

А при чем здесь Пушкин?

Из незваных гостей хороша только Слава одна. Слава – другая сторона Забвения. Вдруг повернувшаяся к тебе лицом... Желтый, как электрический свет, идет восставший из небытия.

Кто бы это мог быть?

Вынимает барьерный пистолет Лепажка... И падает замертво вновь.

Приходят вчерашние люди, а мы – сегодняшние – мгновенно отбегаем в детство. Будто пущены часы назад. И планета хочет все переиграть заново.

Кому не нужна эта фора? Этот новый шанс? Мы сильны задним умом. Все мы мудры задним числом.

Назад сбегает всяческое время, облачное и без теней, солнечное и пасмурное, черное и красное, схваченное и ускользнувшее. И кто-то снова проигрывает свою дуэль. И кто-то снова ляпает, не подумав, глупость, точно так же, как вчера.

Мы добегаем до своего детства, а планета вновь проигрывает свою пластинку. Иглами полюсов проскакивая фальшивую борозду. Без дураков, всерьез. Неужели и впрямь решила начать все сначала?!

Ай да матушка-Земля! И снова, как когда-то, у моего поколения впереди целая жизнь!

А пока я опять оказался в своей трижды проклятой школе. Вот опять нас вывели на пыльный старый двор. На деревьях давным-давно лопнули кукиши почек. Им распускаться можно.

Быстрорастворимый кофейный рассвет. В Азии Средней даже утро смуглое.

Время голодное, а тем не менее нужна Канализация. Кто-то переваривает, а мы копай!

«Сегодня, – сказал военрук, – мы будем копать от забора и до... обеда».

А вот Эйнштейн не мог соединить Пространство и Время.

Как-то я опоздал на урок зоологии. Войдя в класс, я попросил разрешения сесть на свое место. Но преподаватель, продолжая урок, не обращал на меня никакого внимания.

Кончив объяснять, педагог встал и произнес:

– А теперь перейдем к ослу... – И, обращаясь ко мне, добавил: – Садитесь, молодой человек!

– Осла я послушаю стоя.

Класс от удовольствия хлопнул крышками парт... Я был исключен из школы.

Поэзия... Ты ей всего лишь шелку глаза, а она тебе взамен целый мир.

До чего же отчетливо представлял я себе будущее! Если бы у моей интуиции была рука – я бы пожал ее с удовольствием.

За стихи я был исключен вторично. Мне явно не везло с образованием. Но зато, когда я начал писать стихи, посыпались предложения:

- Продай фамилию под псевдоним!
- Продай замысел!
- Но я не умею замысливать стихи. Они у меня пишутся уже готовыми.
- Продай хоть строчку... Ну хотя бы вот эту: «Манекены лучше нас одеты!»...
- Самому нравится. Да и какой смысл продавать породистую лошадь на мыло? Сам посуду – перетрешь в кашу для беззубых...
- Ведь все равно не напечатает. Я бы переделал и протолкнул.
- Поймают с поличным. Меня узнают.

Потом воровали, не умея украсть. Но я был спокоен. Цензура – всегда на месте. Потом цитировали, забыв назвать мое имя. Но напечатать – не удавалось. Трудно было напечатать мои стихи даже под чужой фамилией.

Повезло только одной «Черепашке» – четыре ее строчки кочевали по книгам прозаиков и даже вставлялись в пьесы. Безымянно. Но стоило кому-нибудь авторизовать эти стихи, как их тут же снимали. Юрий Домбровский взял их эпиграфом к своей книге «Хранитель древностей». Предложили немедленно убрать. Потом он поставил их к «Лавке древностей». Но тут прикрыли лавочку!

Одному Юрию Трифонову удалось напечатать эти стихи с моим именем. Прямо посреди своего рассказа о герпетологах. Правда, к моему имени добавлено было слово «кажется». Когда я спросил его – а почему «кажется»? – он пояснил, что герой, декламирующий эти стихи, вообще сомневающийся человек.

И хотя в издательстве «Советский писатель» «Черепашка» появлялась раза четыре под обложками разных авторов, из моей книги эти мои стихи в этом же издательстве все же выкинули.

Спустя десятилетие мне удалось наконец во второй уже книге напечатать:

– Из чего твой панцирь, черепаха?
Я спросил и получил ответ:
– Он из пережитого мной страха,
И брони надежней в мире нет.

Листая верстку моей первой книги стихов «Мета», рассыпанной очередной раз цензурой, председатель идеологической комиссии Ильичев наткнулся на эти стихи и спросил:

– А это что, с юмором? – И, многозначительно помолчав, добавил: – Вот жалуются, что бумаги не хватает. А сами четыре строчки на отдельном листе печатают. Преступная расточительность! Безобразие!

Проблема с бумагой у коммунистов была всегда. Во время испанской гражданской в тридцатых Пабло Неруда (тоже хорошее падло) выпустил книгу стихов ура-патриотизмов... на бумаге, переработанной из франкистских знамен. А Миша Вершинин, ворвавшись на победных танках в Прагу в сороковых и первым делом первую попавшуюся типографию найдя, под дулом автомата заставил набрать свою книгу стихов... Сразу нашлась бумага. Пару очередей в потолок. И все дела. Тогда еще не было его знаменитой песни «Москва – Пекин». Это где «Сталин и Мао слушают нас». А то б перестрелял славян несчастных от нетерпенья. Слава богу, что еще не прославленный был. Задолго до него, когда с легкой руки Горького и Дзержинского уголовный мир тоже подался в писатели и поэты, а бумаги, естественно, не было, Павел Железнов, осужденный за убийство, но тут же ставший поэтом, – свою первую книгу

стихов «От „пера“ к перу»¹ не постеснялся выпустить и на туалетной. Сам Горький пальцем мазал на ней и ничего – классик...

Помню, я тогда ошарашил Ильичева, радеющего о бумаге.

– А вы знаете, вот уже несколько лет издательство «Советский писатель» дарит мне ко дню рождения заново отпе-

«П е р о» – нож (*блатной жаргон*).

чатанную мою книгу в одном экземпляре. Четыре художника готовят обложку и шмуцитулы. Десятки корректоров читают верстку и сверку. А сколько редакторов получают зарплату, редактируя меня? А набор? Сколько стоит каждый раз набрать мою книгу стихов, пусть даже в два с половиной печатного листа? А потом рассыпать и снова набрать? Мне просто неудобно принимать такие дорогие подарки. Поистине из-за своей малотиражности нерентабельны поэтические книги! Или, как говорят, убыточны!

– А где взять бумагу? – все о том же спрашивал командующий идеологией.

Вскоре, запыхавшись, появились и главные редакторы выпускавшего меня годами «Совписа». Кажется, на сей раз книга выйдет не в одном экземпляре.

Я настаивал на включении ранее выброшенных цензурой стихов. «Без этих пятнадцати, включая „Черепуху“, нет смысла выпускать меня в свет!»

Но здесь меня не спас даже ЦК КПСС.

Цензор Голованов – маленький человечек – оказался могущественней даже партийного Синода. Он сказал, что если я буду настаивать на этих уже однажды изъятых стихах, то он опять рассылет мою отчаявшуюся выйти книгу.

Инструктор ЦК, которому поручили проследить всю эту катавасию, развел руками и сказал, что здесь никто не в силах что-либо изменить.

– Позвоните председателю Комитета по печати, – посоветовал я, – раз уж мне в кои-то веки патронировать Идеологическая комиссия в лице самого Ильичева...

– Я не имею права выходить на него. Да и вряд ли он меня послушает. Безопасность государства – превыше всего.

Этот услужливый клерк станет ректором Литературного института и Высших литкурсов. Возглавит приемную комиссию Союза писателей и будет одним из ведущих литературных критиков. Заместителем самого Ива Гандона – председателя Всемирной ассоциации критиков. Правда, ему однажды взыщут за то, что он назовет меня в числе пяти интеллектуальных поэтов России. Вот где куются кадры!

Проходя по коридорам власти с расширяющимися от этажа к этажу коврами дорожками. С урнами, постепенно из железных становящимися мраморными. Мимо отделанных красным деревом кабинетов с увеличивающейся роскошью. Я обратил внимание на фамилию «Романов». Среди прочих фамилий на медных дощечках эта брала числом. Какой же смысл был однажды свергать Романовых? Если опять их засилье?

Удивительно, ну до чего ж поразительно к месту подчас фамилии!

Командует бывшим Петербургом Романов. А редактор «Звезды» в этом городе Холопов.

У нас критика и впрямь презерватив, в котором бьется уже прорвавшийся живчик. Она бдит. Предохраняет, чтобы, не дай бог, не забеременело общество какой-нибудь светлой мыслью. Еще повзрослеет, сорвет свои слюнявчики. И выйдет из своего затяжного полувекового детства. И вот вам Президент Всемирной ассоциации критиков (пока литературных) – Ив Презерватив. Чья парадная фамилия «Гандон» у нас звучит просто неприлично.

Казнин... Уж не Правосудие ли? Так оно и есть! Член Верховного суда СССР.

В литературном институте имени Горького, в этой кузнице писательских кадров, мечтающих о сладкой жизни, работает доцентом В. Безъязычный. Где ж ему, как не там, работать!

В журнале «Иностранная литература» – В. Бессловесный. Наверняка где-то работает и Бессовестный. Или Бессовестных, как бы намекая, что он не один.

Дорогами в Москве командует Придорогин (начальник ГАИ).
Именем «Правды» судит о живописи Членов. Бедная, и здесь ей не повезло!
Секретари горкомов и обкомов КПСС сплошь Тупицыны.
Даже администратор в Большом театре – Беатрисса Кувалдина.
Точнейшая символика.
ЦДЛ. Похоронщик писателей – Арий, то есть – смерть.
Редактор журнала «Здоровье» – Могила.
А редактор журнала «Овощеводство», помнится, был товарищ по фамилии Помидор.
Нарочно не придумаешь.
Интересно, кто редактирует журнал «Гинекология и акушерство», единственное место,
куда можно сунуть стихи о любви?
И кто сидит в ОВИРе?
Конечно же Неотпускалкин. И еще Израилова.

Партийные Волковы и беспартийные Зайцевы. Смирновы, Тихоновы и ни одного Желябова.

А впрочем, ударил кто-то бомбой в Мавзолей, но вождь остался жив.

«Друзья, пока свободой горим...» А ну, веселее, друзья, вы горите или не горите? Теперь все вместе – раз, два – начали!

И ничего, что хор шарахался от взмаха дирижерской руки. И ничего, что торопился – баланду, небось, давно разнесли по камерам. Все одно Пушкин звучал у них дерзновенно и молодо.

Любую колыбель, даже революции, надо раскачивать.

В окна ленинградского Дома писателей глядит «Аврора», имеющая опыт разносить в пух и прах дворцы. Даже холостыми выстрелами.

Писатели, даже лояльные, всегда должны быть под прицелом. Тем более в этом городе, когда-то славившемся революциями. Хотя бывший хозяин Ленинграда Толстяков сказал, что «третьей революции не ждите! Не будет!».

Будучи в Ленинграде, я зашел в этот дом. Попал на вечер переводчиков. Меня попросили прочитать что-нибудь из братских поэтов.

Я выбрал в памяти гумилевский перевод и начал читать. Полагая, что это польстит ленинградцам.

На сцену выбежал какой-то шустрый человечек. И, пытаясь оттолкнуть меня от микрофона, стал взывать к залу:

– Мы не затем пятьдесят лет назад расстреливали мятежника Гумилева, чтобы сегодня в наш юбилей читать его, пусть даже переводные, стихи!

– А как же быть в таком случае с телеграммой Ленина? – спросил я человечка. – Ведь он так хотел спасти этого поэта!

– Если бы хотел, то спас.

О, святая простота! Она всегда обезоруживает.

Франко ведь тоже хотел спасти телеграммой Лорку. Почему-то всегда эти спасительные бумажки приходят поздно. Слишком поздно.

В Ленинграде, в этом самом подмосковном городе мира, есть дом, где полюбившегося гостя угостят любимым блюдом Николая Гумилева – яичницей на помидорах. Но главное, здесь покажут несколько тетрадей поэта, чудом спасенных. Это последние его стихи. Написан-

ные за несколько часов перед смертью. Нет, это не стихи о рабочем, в которых он предсказал свою гибель.

Это были другие стихи. Эти святыни дают здесь читать только из своих рук. Они повествуют о жизни, которой ему оставалось в обрез.

О нем можно говорить без конца. О нем можно говорить до тех пор, пока он не заговорит сам. Но он уже никогда не заговорит.

Читаешь безвременно ушедших с этой земли, и даже собственная молодость кажется долголетием. Но с годами холодеет сон, приближая вечные мерзлоты смерти, – думаешь ты, как бы извиняясь за то, что еще живешь.

Когда-то литература уходила под землю. Мерзлую в несколько метров. И пробивалась песней лагерной, блатной, народной. Она на время отставляла в сторону свои привычные жанры. Без карандаша и бумаги, она пела у колымских костров.

«Держи язык за зубами!» Держи литературу в памяти!

Почему все лучшее в нашей жизни случается на второй день после нашей смерти?

Марк Поповский

– Диктаторы приходят и уходят, а народ остается, чтоб новым было куда приходиться. Вот так и к моей прабабке однажды пришел Халиф на час, а остался на всю жизнь.

– Да, надо сказать, фамилия у тебя – что надо. У других и псевдоним не потянет на такую. – И, порывшись в своих иудаистских познаниях, он тут же рассказал мне ее историю, а заодно и о краже.

«Хейлаф» – так у древних евреев назывался кинжал для закалывания жертвы. Надо думать, не человеческой. А впрочем, не исключено, что и людей, как барашков, резали тоже. Обычно держал его как бы верховный жрец. Седовласый и мудрый. С твердой рукой и вообще мускулистый. Надо думать, что это был глава – отец или дедушка клана, рода или еще какого семейства. Короче – это был не дряхлый старик, если наколупал столько. И жил по меньшей мере два, а то и три поколения. Потихоньку род его деятельности становился священным. Старик был деятельным (а род его рос и рос) и царственным. Со временем это занятие, торжественное и возвышенное, стало титулом, который и сперли нечистые на руку арабы. Позже они будут курочить еще и гробницы своих фараонов, как истые атеисты, мочась на их гнев. Очень уж им понравилось это, отливающее сталью, не ломкое и звучное имя. Посреди непрочного мира, сыпучего, как песок, лишь где-то у горизонта спекшийся в стеклянную полоску. Бог, наверно, на звук именно этого имени и кинул в тебя свою искру... А вот мне судьба кидала только нелепости. Одну краше другой. И он рассказал, как его более или менее добрый дядя, служивший на хлебокомбинате месильщиком ног и вор каких мало, кидал ворованный хлеб на звук. «Ку-ку» – и тут же кидает. Время было голодное, и семья только и ждала его попаданий. И дальние и ближние родственники только и делали, что шли и шли сюда, будто в Мекку. Словно дядя был ее заведующий. Однажды он, как всегда, через забор высоченный, да еще с колючей проволокой поверху, подкинул свою буханку – ржавую, ржаную и свежую. И угодил ему прямо в голову. Доброта убивает насмерть. Хлеб был тогда сырой и тяжелый. Еле выжил малец, с голодухи шатающийся по дворам. И певший популярные тогда песни по такому случаю объявившимся голосом. Открытый перелом черепа. Не говоря уже о сотрясении всего организма.

– Ты не представляешь – сколько было нелепостей в моей жизни! – продолжал рассказывать сосед. – Во-первых, ни один контролер общественного транспорта не верит, что я частично безногий. Каждый раз для полного убеждения они пинают мой протез. И спрашивают: «Не больно?» И видя, что мне действительно не больно, идут дальше. И заметь – я попадаю к тем же самым недоверчивым, пожалуй, самым недоверчивым, уже в силу своей специальности, людям. Я отработал нехромающую походку. И теперь хожу пешком. Мне надо-

ело это битье в мою ногу. Пусть даже неживую. В собесе, где выдают (вернее, выдавали) мне крохотное пособие, поскольку я не инвалид войны, каждый раз спрашивают – а не жил ли я, случайно, в Ленинграде во время той самой Отечественной? (Это так они Вторую мировую войну называют.) Я представил им документы, что родился, вырос и возмужал в столице нашей родины. Только здесь и можно, между прочим, жить и мужать. А они мне: «Нет, вы лучше получше вспомните, а может, вы все же были в Ленинграде во время войны? В особенности нас интересует период блокады». Они подозревают, что я съел свою ногу. Посолил и отгрыз. А может, студень-холодец из нее сварил. Кто меня знает?! Идиоты! Я же в то время был мальчик. К тому ж абсолютно безвольный, да и нога у меня была тогда маленькая. Вчера на допросе мне приписали участие в давних чьих-то волнениях. Опять же в городе Ленинграде. Там лет десять-пятнадцать назад несколько шутников залезли ночью на Медного Всадника и натерли висюльки коню-красавцу. Уж чем они там натирали неодолеваемую патину, но потрудились отлично. Утром на фоне еще более потемневшего Петра Великого, оскорбившегося не меньше советской власти, – весь город, тоже когда-то Петров, купался в лучах. Но уже конской славы. Зрелище, в общем, было не пасмурное. Наконец-то улыбнулось Петра и большевиков творенье. Все еще окруженное блокадой голодной. Есть по-прежнему нечего. Разве что в юбилей той самой героической подкинут чего пожевать.

Но это еще семечки. Я предчувствую самую нелепую нелепость, которая вот-вот случится со мной. С самого первого дня со мной случается что-то нелепое. И не просто нелепое, а из ряда вон нелепое. Да и не только со мной, но и с моими родственниками. Их тоже преследует рок-шутник.

Буквально за несколько дней до получения пенсии персональной разбилась моя бабушка-стюардесса. Моя любимая бабушка-ветеран. Можно сказать, бабушка нашего Аэрофлота. Ну, дядю-кормильца, того давно посадили. Так же как и тетю, его вдову. Я уж и думать забыл о них. Так же как и о других посаженных родственниках, никогда не промышлявших на хлебозаводе, умевших честно добывать свой хлеб. Другое дело – его и в этом случае нет. У нас же кроме побед – ни хрена не имеется. Что-нибудь одно – либо победы, либо обеды.

Да, кстати, вчера я нашел зеркало, будто себя нашел. И обрадовался, как ребенок.

Любовь к детям у него была не случайной.

Если верить окружающим, он был человек необычный. Мужчины утверждали, что он парень-рубаха. Женщины, им вполне доставало одной его внешности. И так считали, что красив до неприличия. И так беременели в его честь. О чем он не всегда догадывался. И тогда они ему говорили: «Я беременна, хотя и временно, но это не значит, что ты не будешь платить мне вечно...» «Что тебе подарить, красавица?» – спрашивал он. «Подари мне что-нибудь из денег. Ласки стоят того», – отвечали они ему неизменно. Да он и сам каждый раз допускал, что любой малыш на улице может вполне оказаться его любимым и не единственным сыном (он уже имел сына от чьей-то жены). Как и любой старик, на скамейке спящий, имел все шансы оказаться родным отцом.

«Безотцовщина я, безотцовщина, а вдруг это мой папа! – часто думал он, глядя на чью-то старость, безучастную и беспомощную. – А вдруг это мой родимый, изрядно помятый жизнью и будто упавший с неба...»

(Вполне допустимо, если мужчины идут непременно вверх, а женщины вдовствуют чуть ли не с первого дня своего замужества.)

Поэтому он всегда давал детям конфетки, хотя обожал их сам. А старикам, хоть и сам от усталости с протеза валился, уступал место – пусть поспят.

Хромец с безупречной походкой, что только усугубит потом его поиск. Сколько угодно людей в этом мире хромает на что угодно. И при этом то же незаваливающееся скольжение по жизни. Попробуй найди моего хромца на просторах свободных (где-то есть же они без стен).

Другое дело – вот он здесь – за стеной. Да и толща ее – пустяки – всего-то несколько средне-вековой.

1956 год. Венгерские события. На вокзальные перроны сибирских городов выходят студенты с цветами, ведь восставших погонят в Сибирь. Молча, переминаясь с ноги на ногу, ждут эшелоны. Незадолго до этих событий, поначалу, как всегда, студенческих, клуб Петефи в своем журнале «Уй Хэг» (естественно, закрытом после подавления восстания) печатает подборку моих стихов в переводе Ружены Урбан, однажды побывавшей в Москве. Тогда же мои стихи (в ее же переводе) появились в газете «Северная Венгрия» (приятно осознавать эту свою пусть малую, но причастность). Лиха беда начало – и отечественные волнения грядут. Явно подтаивает грим верноподданничества, явно пошла на убыль эта уже полувековая симуляция любви всенародной, любви падучей с пеной у рта и с обязательными конвульсиями самых неискренних приветствий. То же происходит и со стихами в нашем невеселом краю. Где стихи бывают либо *лягавыми*, либо *нелегальными*.

Флейта позвоночника... Когда-то в нее дул и Маяковский (это потом он фанфарную выбрал трубу). Но в данном случае речь пойдет о позвоночнике другого поэта – Давида Петрова, который не в пример великому и бесхребетному, чтобы выжить в невыносимой советской солдатчине, куда он был буквально схвачен вместе с другими нелояльными ленинградцами (и не только ленинградскими студентами, хотя и кончал мединститут), – пошел на рискованную, болезненную и небезопасную операцию со своим позвоночником и доказал, что он действительно ненормален по тем советским стандартам, где вполне нормально быть ничтожеством, но никак не порядочным человеком, а уж поэтом, да еще честным (вот он в чем ныне талант упакован), – и того смешней.

– Нас гнали в Башкирию в наспех сколоченных телятниках, – рассказывал Давид, – и мы были в малоотличимых от арестантских роб гимнастерках. Еще никто и никогда не видел таких интеллигентных рекрутов. Мне, как врачу (в данном случае военному), надлежало пресекать любую симуляцию. Это в основном и натолкнуло меня «закосить» самому. Так невоготу мне было. Все одно мы живем, чтобы врать, и врем, чтобы жить. В нашем больном обществе самые здоровые люди – это алкаши и сумасшедшие, ведь от любой мало-мальски стоящей строки эти невесты откуда взявшиеся «ценители» обязательно впадают в колотун и начинают крутить у виска, и без того мелкого, пальцем, как бы торчащим из их здоровья. Так что, можно сказать, я им правду поведал о своей аномалии и согласился на пункцию из своего позвоночника. Мне было больно, а потом смешно, оттого что мне удалось убедить их, что я сумасшедший...

Тут поневоле будешь Давидом, когда Голиаф на носу.

50-е годы. Ленинград, а вообще-то Питер, мы ведь жили там по старинке. По-человечески жили. Лучшее из всего мною написанного случилось именно в этом городе, куда я приезжал к своим друзьям.

Окно в Европу, а если посмотреть из Европы? – давно уже без окон живем, находя иные отдушины, всею сутью своей задыхаясь.

50-е... Как же лихо тогда начинал Голявкин. Детский писатель. Во взрослого не пошел.

«Парадиз», «Горожане», «Крыша»... Литературная Москва еще на дереве, как на колу, сидит, доглядывая партийные директивы. А здесь уже сбросили шкуры. Все ж великая Русская отсель пошла. Здесь воздух сырой, с комарьем, со ждановщиной, но какой вдохновенный. Да вон и классики, как живые, стоят.

Питер – терпитер...

Олежка Целков оформляет спектакль по Хэму – левой, а правой пишет свое. И Боря Вахтин переводит древних китайцев, но с летчиком Тютчевым говорит. И еще есть маленький Боря, но друг наш большой.

Нет. Недурственно мы начинали. А здесь ведь только начни.

По ночам же нам светит белая осень. Где-то Черная речка пошла пузырями гнилья. И мосты над Невой вдруг встали вполне по-ночному. Да мы и так на другом берегу.

Покуда хватит на руке нашей пальцев – считанные-пере-считанные будут друзья.

Мы жили тогда на одной широте – широко. И меридиан один и тот же по нам проходил. Везде незаметный, а здесь точно обруч под ребра.

Союзок Союза... Быть им у нас не получалось, к счастью, никак. А может, к несчастью? Так это же как посмотреть.

Здесь я написал своего «Молчаливого пилота». Сначала стихами. Потом он станет романом. И тоже начнет поворачивать круто мою и без того не тихую жизнь, ну никак не вмещаюсь в привычные нормы и формы.

В поезде, идущем в этот город, я познакомился с Анной Ахматовой. Ехал «зайцем», и она меня укрывала. Пили коньяк и читали стихи через всю протяжную ночь. Может, оттого и была такой трассирующей сквозь непроглядную темень многоспальная наша «Стрела». И лишь только потом на перроне конечном мне ахнут – с кем же я ехал! «С у-у-у-ма сойти!» – сказал я друзьям и расцеловал старушку (как же прекрасно без билетов-то ездить!).

Это портретов Ленина – по сотне в глаз – «Правильной дорогой идете, товарищи!», а великую поэтессу хоть бы разок публично не высекли, а показали в нашей ленинско-сталинской, будто снова-здорово татаро-монгольской, России. Увы.

Питер, и как же об тебя он ноги вытер!

Всю дорогу страна великанов балует своих лилипутов.

Москву меньше жаль. Всегда была купеческой и суетливой. Со своими Филями – филейной частью своей. А вот Петин град, хоть и красным навозом заляпан и вонь беспросветная – в Смольном вечно что-то смолят... А все одно – державное течение.

Да и нам везло – всякая сволочь нас стороной обегала. Лишь однажды после стихов, что читал в «Промкооперации», где иногда очень кратко читать позволяли, – под конвоем в московский экспресс посадили. Выселили из колыбели революций и куда – в столицу, где их отродясь не бывало.

Но я в Петроград возвращался. И мы забирались в чащи подальше. Уходили получше вглубь. То в досточтимый Достоевского город, то в Блоковский, то в Гоголевский Петербург. И уж, конечно, в Пушкинский забредали, где шпиль да гошпиталь и Мойка еще не помойка. И если уж очень захочешь – сам выйдет тебе навстречу о том о сем поговорить.

Мои путеводители не лгали. Мои проводники свой город знали.

Но заглянем в ЦДЛ. Нынче он у нас полевел. Всей своей отъезжающей частью.

А впрочем, еще успеем.

Лень глянуть вверх, а там живут художники. А под ногами? Здесь живем мы. С асфальтом поверх головы.

Дерево в верхних кронах шебуршит самолюбием. Но эти ветви быстро обрубают. Деревья – неказистые столбы, лысые и неприветливые, вдруг начинают зацветать по весне. Лезет трава, дырявя асфальт. Ее стригут, а она лезет.

1956 год. Начало Малой Садовой. Эта улица параллельная Большой Садовой, которая соединяет Большой Невский проспект и улицу Ракова.

На углу Малой Садовой и Невского находится Елисейевский магазин. Этот угол на мало-садовском жаргоне называется «жердью». Наверно, оттого, что главную витрину магазина огораживает медная труба. На которую удобно облакачиваться.

Елисеевский магазин – главный снабдитель алкоголем. Рядом кафетерий с прозаическим названием «Кулинария». Одно из тех редкостных мест в Ленинграде, где варят самый лучший кофе. В этой «Кулинарии» и возник в 1956 году центр уличной литературы.

Мое поколение – Глеб Горбовский, Иосиф Бродский, Женя Рейн, Костя Кузьминский, братья Танчики (их называли Христианчики), трагически погибший на охоте Леонид Аронзон (уж не сам ли на себя поохотился?). Потом идут – алкогольный учитель, в прошлом философ – специалист по Востоку Виктор Хейф. Длиннющий, тощий человек, незаменимый собутыльник, умевший организовывать самые дикие пьянки на 20–30 персон прямо на улице, при этом абсолютно не имея денег. Он любил повторять: «Хейф всегда презирал толпу».

Следующим идет – Лисунов, по прозвищу Колдун. Брови подбиты. Лицо дьявольское. Мефистофель. Совбитник с тогдашней своей подружкой Машей Неждановой.

Витя Горбунов (или Вл. Эрль). Это ему принадлежит воскрешение обэриутства. Он собрал о нем огромный материал. Все о Хармсе – это мозаика из... пылинок развеянного праха. Однажды в Союзе писателей ему дали выступить. И он читал с 6 до 12 ночи. Мог бы читать и дольше.

Все мы пишем перед смертью, даже если умирать не собираемся. Не знаю, как у кого, но меня всегда не покидало чувство, что я пишу последние стихи.

Тема лебединых песен моих современников. Какая у кого последняя?

Аронзон писал:

Где роща врезалась в песок,
Кормой об озеро стуча.
Где мог бы чащи этой лось
Стоять, любя свою печаль.
Там я, надев очки слепца,
Гляжу на синие картины.
По отпечаткам стоп в песках
Хочу узнать лицо мужчины.
И потому, как тот, ушедший,
Был ликом мрачен и безумен.
Вокруг меня сновали шершни,
Как будто я вчера здесь умер.

Пророчески?

Борзая, продолжая зайца,
Была протяжнее «ау!»,
А рог трубил одним – «спасайся!»,
Другим – свирепое «Ату!».
Красивый бег лесной погони
Меня вытягивал в догон.
Но, как бы видя резвый сон,
Я молчалив был и спокоен.

Яичница, яичница скворчит на сковороде... Это Михаил Таранов, по прозвищу Юпп. Тогда он был поваром. Поэт-повар – это что-то новое. Тем более что в сытом теле едва ли гнездится талантливость.

Юпп – поэт от чрезмерного здоровья, но не от болезней, каковыми считает он большинство других поэтов. Но тем не менее страдает и Юпп, не имея учеников.

Дети, видели вы где
Жопу в рыжей бороде?
Отвечали дети глупо —
То не жопа – рожа Юппа.

В Москве он читал свои стихи под джаз в кафе курчатовцев-физиков.

Однажды он пришел в Московский Литфонд за единовременным пособием. Но его попросили сбрить бороду. Сколько дадите? – спросил Юпп. – 500 (старых). – Согласен, – и сбрил.

Потом идет третье поколение 60-х годов. «Сайгон» – кафетерий на углу Невского и Владимирского проспектов. Помимо богемы ворье, фарцовщики, алкаши и проститутки.

Почему «Сайгон»? Так, с чьей-то легкой руки (есть еще «Ольстер»).

Его облюбовали бывшие питомцы клуба «Дерзание». Здесь пребывал весь Невский.

Николай Биляк с винегретом кровей – поэт высокой культуры. Духовная сила «Сайгона». Одним словом могущий остановить проходящую мимо толпу. В армии через месяц после его появления взвод не пошел голосовать. Восемнадцатилетнему Биляку повезло. Он чудом спасся от трибунала.

Ширали, Славко Словенов, Б. Куприянов. Хирург Веня Славин – импровизатор. Энергичный, как вулкан.

«Хотите 10 гесхальских сражений?»

Бог Иудеи час пробил.
Вот входит легион Девятый.
Меж скал Гесхалы дай нам сил.
Иуда Маковей крылатый
Строфу из псалма возгласил.

Он стеснялся, что импровизирует. И всем говорил, что пишет.

Иуда меч плашмя не держит,
А только к небу острием...

Виктор Кривулин. Юродствующий Евгений Вензель, уличный Меркуцио.

Мой отец – еврей из Минска.
Мать пошла в свою родню.
Право, было б больше смысла
Вылить сперму в простыню.
Но пошло... и я родился.
Непонятно, кто с лица.
Я, как русский, рано спился.
Как еврей, не до конца.

Гена Трифонов и Петя Брандт.

Если Мало-Садовая некоторое наследие обэриутства, «Сайгон» – более классическая форма. Здесь мало алогизма и парадокса. Здесь больше ортодоксальности, возведенной в куб. Иными словами, в понимании конструкции стиха.

Это почему-то считают новаторством. А это всего лишь хорошо понятое старое. С новым настроением. Это почему-то считают смелостью. А это просто честная работа.

Пропадала, как всегда, свобода. А здесь жили сами по себе. Им не нужно было печататься. Им важно было не порвать с духовным прошлым.

И все же ниточка вела к обэриутам. Было когда-то такое Объединение Реального искусства. В бывшем институте Истории Искусств, основанном графом Зубовым... в момент прихода большевиков к власти. Граф даже дом свой отдал под это дело. Там преподавал Ю. Тынянов, учились В. Каверин, Е.Г. Эткинд, Шор, переводчик Левинтон. Отсюда вышли Хармс, Введенский, Заболоцкий, Олейников.

Потом институт разогнали. Питомцы его исчезли. Многие глупо погибли. Кто-то, то ли Олейников, то ли Введенский, во время войны вышел из поезда в момент эвакуации. За пачкой папирос. Подумали, что он хочет остаться, и расстреляли.

Ленинградские мансарды в районе Пестеля, Литейного, Белинского, Кирочной. Нежилой фонд, там живут художники... Лиговка... Все это связано с «Сайгоном». В Ленинграде нет человека, имеющего хоть какое-то отношение к искусству и не знающего, что такое «Сайгон». Во всяком случае, молодежь. Уж она-то знает, что это такое!

Нет в Ленинграде и такого милиционера, который бы не знал это кафе. С ним боролись. Выносили столики. Но стояли его посетители стойчески. Радикальным способом у властей ничего не получалось. А может, получалось? Где-то и как-то все же перерождался «Сайгон». Богему разбавляли воры. Попахивало притоном. Фарцой. Липли шляхи, что мухи на столики...

Стоило «Сайгон», но все оставались в нем. Невзирая ни на что. Все, однажды к нему пришедшие. Потому что он был ленинградской Ротондой. Или хотел ею быть.

Злачное место. Проклятая тема. И все же что-то в нем есть. Завсегдатаи бывают в нем по 5–6 раз на дню. Тут одновременно поселились и нечистая сила, и Господь Бог. «Джентльмены из Подмосковья» (потому что «Сайгон» под рестораном «Москва») – так называлась первая статья в официальной прессе.

Нет Малой Садовой. Остатки ее влились в «Сайгон». Битый-перебитый, но еще живой.

Инстинкт выживания духа вопреки всему. Вопреки перерыву посреди дня. Вопреки убраным столикам. Вопреки построенным вокруг кафе. Вопреки клеветонам, облавам... И все же травился он тем, что с ним не связано. Что-то происходило. Неуловимый дух тления витал над ним. Но тянуло туда по-прежнему.

Юродивый монах Витя Колесников, кривоногий добряк, ездивший по монастырям России, он возвращается в «Сайгон». Как и Славко Словенов, состоящий из одного профиля.

Шла сюда «леди-скульптор», созданная для плоти, Кармен. Чувственная... особенно весной. Только-только начиналось солнце, а она уже шоколадная... Однажды она пошла к Богу. И стала схимницей. Бездомное существо с жуткой и несчастной судьбой. Это тоже «Сайгон».

Здесь поэт Гена Григорьев мыслит свою жизнь как пьяную песню... А художника Гарри Донского спрашивают: Почему у всех женщин трудная судьба? – Понимаешь, старик, – отвечает он, – по натуре они все провинциальные барышни. И поэтому мыслят свою жизнь романами. Нам к этому трудно привыкнуть. Потому что мы свою жизнь мыслим скетчами.

Вечность этого места в полном отсутствии корысти. Здесь жизнь и тут человек! Прощай, «Сайгон»!

Что-то подобное начиналось и в Москве. Союз молодых гениев – СМОГ. Но СМОГ ничего не смог. Самоутверждение. Завоевание Москвы... А здесь даже вилять не велят! Гонят туда, откуда приехал. Если получают чуть меньше, уже мученики. Если б перед ними стояла проблема пельменей, они бы кричали, что умирают прямо на улице. Но вернемся в ЦДЛ. Хоть и дюже надоел.

ЦДЛ – хоровод бесполох теноров... Так и хочется тут всех поздравить с Международным женским днем! Самым древним праздником на земле. Второй по древности день журналиста. Тоже наидревнейшая профессия.

«Научитесь страдать!» – взывал Достоевский.

«Чем?» – хором отвечает ЦДЛ.

Не пройдя свой «Мертвый дом», а на воле вечно не проваливаясь в долговые ямы, можно ли стать писателем?

Нет, прежде надо, чтоб у позорного столба над головой сломали шпагу. А уж потом пусть ломают копья над твоим творчеством, да и вообще, что такое успех, не дымящийся глубиной провалов?!

ЦДЛ. Литературовед из Сорбонны. Вот уже два года пытается понять нас. Как будто здесь – в ЦДЛ, обложенная лешими и ведьмами, нетопырями и кощеями, схоронена пресловутая загадка русской души.

Этот парень явно не Стендаль, которому недоставало сорока тысяч штыков, чтобы иметь собственное мнение.

У себя в Париже на вопрос: «Ну, как там в Москве?» – он ответит просто, не задумываясь: «Да как у нас!»

«А что ты все время оглядываешься?» – удивятся его любознательные друзья.

А что касается ностальгии. Здесь тоже тоскуют по родине... которая будет. Без нас.

Когда кухарка уже направится государством. Насытятся, навождится, наглавенствуется вдосталь. Когда между серпом и молотом не будет свисать сосиска человеческого пальца. А на местах, засиженных Мухиной, придумают что-нибудь поновее. Когда обломаются наконец зубцы стены кремлевской. И будут лилии, как на месте Бастилии. Когда дети не будут против отцов. И большинству до смерти не захочется совершенно другого отчества. Когда наступит день великих дел. И разгонят ЦДЛ – Центральный дом лилипутов. С его невероятно низкими микрофонами, высокими амбициями и носами по ветру.

Вот палач берется за перо...
Паралич бы ему в ребро!
А вот идёт сволочишко,
голосишко с волосишко...

А вот стукач – командировка между строк...

Еще скользит Кирпотин. Вдосталь евший и вдосталь пивший – о Достоевском пишет.

Говорят, у него душонка,
как мошонка у мышонка.

Мы – умы,
А вы – увы.

Говорит здесь на мир взирающий из-под столика Коля Глазков. Навряд ли зная «Мы»
Замятина:

Я на мир взираю из-под столика.
Век двадцатый – век необычайный.
Чем он интересней для историка,

Тем для современника печальней.

Как будто еще не изобрели письменности – ходят изустно в народе стихи, которые вряд ли напечатают при жизни нашего поколения. Ходят по свету строки, забыв своих авторов, минуя строгие запреты появляться в общественных местах. Так нетрезвых не пускают в метро. Так «посторонним вход воспрещен». Туда, где заседают. Всенародно и закрыто.

Ходят строки. Живут без прописки. Нелегальные навсегда. Беспризорники в облаках... Быть бы живу – не до славы!

Встречаются и анонимные. Строки-намеки.

За них немудрено и заработать сроки.

Но, как правило, это дань моде. Типа «Мы все лауреаты его премий!»... (Имеются в виду сталинские.)

Поздносовестливые и покаянные. Это зачастую не самобытные письма манеры. Их друг от друга не отличить. К счастью их писавших. Да и безопасней так и спокойней!

Случись бы сейчас свобода, и объявилось бы по несколько сот авторов на любую из этих анонимных, пусть даже и безликих, строк.

В чем и зачем нам каяться, если мы все писали сами? Если мы зафиксировали на бумаге себя такими, какие мы есть? Что требуют от нас – отказаться от написанного? Так и это бесполезно – написанное нам уже неподвластно, да и не принадлежит, став фольклором. Да и грош цена словам, которые можно взять назад.

Боясь всю жизнь, писатель Ямпольский зашифровал свои рукописи. Он умер, так и не успев оставить ключ к их прочтению. Когда и какой шифровальщик разберет его письма?

Мой старый товарищ Владимир Максимов, один из очень немногих, писавших здесь открыто. Зачем же стесняться своей честности? Ведь каждый делает то, что он не может не делать.

«Если можешь – не пиши!» – требовал Лев Толстой. Но какое же преступление – мочь и не писать!

Я живу в Сокольниках, неподалеку от того самого двора, который посреди неба. Живи Максимов на старом месте – были бы мы соседями.

Двор посреди неба... на улице Шумкина. Сколько раз я бывал здесь! И старуха Шоколинист еще пересекает его, наверно. Самая живучая старуха из самой страшной книги Максимова, круто повернувшей его жизнь.

Покосившиеся строения, наклонившиеся к сносу. Типичный уголок слободской Москвы, мастеровой и трудолюбивой, но однажды вышедшей на огромные митинги и уже не вернувшейся к работе, без которой себя не мыслил русский человек...

Свыше полувека митингует народ русский, вместе со своими окраинами. Митингует, агитируя самого себя. Теперь уже сидя. Каждый на своем стуле. Каждый на своем месте. Заседает в отличие от вчерашнего стояния на ногах. «В ногах правды нет!» – гласит русская пословица. Да и в стуле ее – не больше, особенно если он с гербом. Советский народ... Одна половина стоит под ружьем, а другая – сидит под ружьем.

Идет самоагитация, крикливая, чтоб все слышали и все загорелись этой безудержной, самоопьяняющей идеей вселенского погрома. А думает пусть Пушкин, у него голова без фуражки, а помогают пусть ему интеллигенты. И вкальвают студенты. Пусть возводят братские ГЭС и дороги в... никуда.

Самый привилегированный класс – класс агитаторов давно уже скомпрометированной идеи всеобщего равенства. На охрану которой брошены несметные армии соглядатаев с невиданным по мастерству аппаратом подавления.

Гении демагогии с танками наперевес!

«Партия – не дискуссионный клуб». Это уж точно! Такая партия никакой дискуссии не выдержит. Никакие катаклизмы не в состоянии потрясти эти устои. Кроме одного-единственного Слова. Даже не слова, а буквы – одной-единственной буквы закона, закрепившего свободу не абстрактного слова, а легальность его.

Если бы в нашей стране чтили хотя бы один-единственный пункт конституции – «свобода слова и собрания» и люди научились бы им пользоваться – даже слепцы увидели бы всю нелепость этого порочного нагромождения, громко поименованного «Народная власть». Лопнул бы мыльный пузырь, ставший со временем и не без помощи извне – железобетонным. Взорвался б, забрызгав землю зловонными остатками бывшего сверхмогущества.

Алгеброй выверяют гармонию. Что приложимо к этому преступно негармоничному строю? – Слово правдивое и громкое, застрявшее в горле истлевших в земле поколений. Пытавшихся высказать его однажды. И поплатившихся за это жизнью.

Чудо, свалившееся с небес, все поставившее с головы на ноги?

Нет, бесплатная свобода не нужна. А платить за нее не хочется. Однажды уже пытался русский человек добыть свободу – дорого она ему обошлась. По сей день платит.

Нет, свобода, она неведома русскому человеку, как головная боль неведома крестьянину. Стреноженные кони с развязанными ногами еще долго скачут, не веря, что они уже свободны. Овцы не выходят за нарисованную черту когда-то ограждавшего их загона.

Когда хамы взяли власть и уничтожили не согласных с ними, верша погром еще на своей территории, они не допускали мысли, что будет инакомыслие. Они едва ли думали о честных одиночках, которые посмеют выступить против большинства, хорошо усвоившего, что партия – не дискуссионный клуб. Тут надобно не убеждать, а побеждать. А там видно будет.

Серая масса, хоть и цвета серого вещества мозга человеческого, но, увы, – не мозг. Но даже при наличии своей явной глупости, они точно рассчитали – в ближайшие столетия никто не вякнет. И действительно помалкивали. И помалкивают. И в будущем будут хором молчать, считая, что посреди жующего зверинца не много скажешь – разорвут. Инакомыслящие... А остальные – мыслят ли они вообще?

Какая разница у нас между левыми и правыми? Левые боятся справа. Правые боятся – слева. Двусторонняя трусость. Может быть, много у нас инакомыслящих, но мыслят они втихую, про себя, заглушая свои невеселые мысли разговорами про счастливую жизнь. «Вот ведь она – за окном!» – кричат они, чтоб слышали соглядатаи.

Оттого на 260 миллионов только сто вслух и явно инакомыслящих. И то эту цифру я беру с опережением в надежде, что их станет больше. Здесь, а не там, куда они уехали инакомыслить вслух. По мнению большинства молчащего и даже во сне не кричащего, они не более чем лезущие на рожон донкихоты. Чья обычная честность воспринимается здесь если не провокацией, то самоубийством.

Зачес привычных мыслей и дел... Попробуй-ка скажи против шерсти, для пушего человекоподобия подбритой там, где надо.

Интеллигенция до поноса трусливая, да пьяный вдребодан рабоче-крестьянский класс, непонимающе хлопающий глазами в люльках патрульных милицейских мотоциклов. Ему бы поспать на лавочке, пока будут защищать его человеческое достоинство те немногие смельчаки, невесть откуда взявшиеся. Ему хотя бы во сне их увидеть – жертвующих во имя его будущего и настоящего.

Овцы... не выходят из загона. А люди, никогда не знавшие элементарных демократических свобод парламентаризма, только они могут допустить культ любой, даже никчемной личности. Каждый потянувший вожжи станет их погонщиком. Каждый, даже с усохшей рукой.

Кстати, чем мизерней личность, тем масштабней культ.

Чудес не бывает, но если бы они и были и люди увидели свалившуюся на них, так – за здорово живешь, свободу, они бы не сдвинулись с места. Оцепенели бы. Хотя пролетарию кроме своих цепей терять нечего.

Но прежде всего надо научить когда-то оскопленную нацию пользоваться своим словом, так громко ей дарованным и гарантированным Конституцией.

Словом, возвращающим зрение – слепым. Словом, выводящим из оцепенения. Словом, доходящим до слуха даже замурованных глухо, в стране, где и рта не дают раскрыть.

Традиции русской литературы. Она веками воспитывала гуманность и любовь к ближнему. Великодушные к убогому, юродивому, несчастному... Воспитывала вопреки черной неблагодарности и плевкам в лицо писателей или просто заступников.

Человековидение писателей, порождавшее жалость и боль за себе подобных, и не только в своем отечестве, становилось их словом и делом. Выше которого и представить трудно.

Солнечные россыпи душ на холодной и суровой равнине русского климата... Несчастье ближних надрывало их голоса, оттого и слышные. Расширяло их сердца, оттого и огромные.

По кандалной цепи поколений это передалось и в настоящих россиян. В тех немногих, как и вчера отмеченных Богом.

Ничто неизменно в этом мире. Просто в толпе труднее отыскать Пушкина. А в коммунальной сутолоке – Толстого, плюнувшего на назидания и ставшего Салтыковым-Щедриным.

Ничто неизменно! По-прежнему функции спасения исключенных из правила одиночек приходится брать на себя Западу. Потому что наши народы не в состоянии заступиться за собственных сыновей и дочерей. Благо этих одиночек немного. И этим задача спасения несколько упрощается.

Детство! Затянувшееся детство... Папа Док или папа Джо. Римский папа или папа Вова... Сплошные папы посреди круглого сиротства. То один отец нации тянет за бороды сквозь узкое окно в Европу. Спустя пару столетий другой папа посчитал, что «Петруха не дорубал», и потянул Россию назад в Азию (будто она в Европе жила). По-своему решив извечный спор славянофилов и западников.

Вот и таскают, родимую, из стороны в сторону каждый, кому не лень. И трещит по швам скатерть земли русской, проваливая в свои рваные края и славянофилов – патриотов русских, говорящих по-французски и марширующих по-прусски. И западников, чье исподнее пропахло религиозно-патриархальным ладаном. А роднит тех и других извечное неприятие всего иноплеменного, иноземного, иноязычного. Однако это не мешает и тем и другим идолопоклонствовать перед всем иностранным и по сей день. Плюхаются лбом с высоты великорусского шовинизма, подтверждая извечную истину: чем посредственнее, тем надменнее! Неистовые «исты» – марксисты, троцкисты, маоисты, фашисты... А где человек?

Старые и новые «измы» – социализмы, нацизмы, либерализмы... А где идеальное общество?

Два мира стараются по возможности не замечать уродств друг у друга. Договариваются взаимно блокируемые союзы, закрывая глаза на вопиющие расхождения.

Разрядка напряженности... Без парадного фрака это выглядит значительно проще и далеко не возвышенно. Разрядка – это разрядить пистолеты друг в друга. И по возможности быстрее. Желательно навскид. Ибо целиться – просто нету времени. Только пистолеты нынче далеко не дуэльные. Слишком велика отдача, так и планету столкнуть недолго. А где еще в мироздании найдешь такую терпеливую?

...Просвистанные милиционерами улицы... Укусный запах каких-то красилен... и зеленющие вдали Сокольники. Неухоженные и еще не ведающие иностранных павильонов. Со скрипящими качелями и вечно не смазанным «Чертовым колесом».

Мы идем с Владимиром Максимовым по лучевым просекам этого, когда-то дремучего парка к партизанским засадам где-то прячущихся пивных ларьков. Из-за деревьев выходит

какой-то старик и предлагает нам свою очередь за пивом. У него явно нет денег. Встав вместо него, мы конечно же угостим его за находчивость. Спереди из кармана старика торчит соленый огурец, а сбоку топорщится граненый стакан на случай импровизированной выпивки. Ну, кто ему не нальет ему положенных ста грамм? Не старик, а сама предупредительность!..

Надо отдать должное сокольническим алкоголикам, собирающимся утром у закрытых еще магазинов. Каждого осторожно ступающего по земле человека, обросшего и несчастного, с глубоко запавшими глазами, явно страдающего в поисках похмелья мученика, здесь подзовут и нальют спасительную сивуху для пушего оживления души.

Солидарность все пропивших и все спустивших с себя людей. С мелко дрожащими руками и вечно воспаленными белками глаз. Людей, глубоко несчастных, оголенных, как зачищенные провода...

...Пересыпая свою хрипловатую речь французскими словами, старик представился нам, быстро обтерев несвежим платком свою выдавшую виды посуду:

– Штабс-капитан добровольческой армии Лавра Георгиевича... кавалер, смею добавить, – полный кавалер Георгия... честь имею! Надеюсь, вам введома история России, молодые мои друзья? Разрешите... – И он пододвинул к одному из нас свой стакан.

Мы налили ему водки. Он выпил, пожевал губами. Затем проглотил пиво. И сказав, что за стаканом зайдет позже, собрался было уходить. Но мы попросили его остаться, если он, конечно, не торопится. Очень уж нам понравился этот старик.

– Дело в том, что мы историки и нам страсть как хочется вас послушать!

Мы не слишком покривили душой. Чего-чего, а всяческих историй нам тогда с Максимовым хватало! Мы в них попадали легко и быстро (недаром мастер провокаций – ЦДЛ).

Заголубели глаза бывшего штабс-капитана. Почувствовав в нас благодарных слушателей, он покрылся румянцем, зарделся, как девица из благородного пансиона.

– Как же, как же, разумеется, расскажу! – сбивчиво начал он...

Мы выпили еще, пока не трогая его огурец.

Старые люди... они не оглядываются – они пятятся в свою память. Втискиваясь в нее, ощущая похолодевшими лопатками шершавые стены своих вчерашних расстрелов. Там они могли остаться молодыми. Но судьбе угодно было ткнуть их в старость. Спокойную и равнинную, с ровным течением остывающей крови. Иногда лишь дергающей сердце короткой вспышкой вдруг промелькнувшей жизни. Прожитое не отпускает плечи. Едва отпустив – оно опять наваливается. И так все время, пока человек не уйдет в него с головой.

Это самообман, что мы живем в настоящем. Мы остались там!.. И он поворачивал нас в те далекие времена, когда он был в нашем возрасте. Защищенный своей молодостью. В России, треснувшей надвое, разверзшейся да так и оставленной зиять несомкнутыми половинами.

Боже упаси вас заглянуть в эту пропасть! Боже упаси!..

Как баклан с перевязанным горлом, не умеющий проглотить пойманную рыбу, старик то и дело тянул шею, тяжело перекатывая кадык. Судорожно глотая слюну. Дергалась обтягивающая скулы кожа. Будто соскакивала с выпирающей кости. Слегка подтаянная под глазами...

Сколько б крови ни пролил русский человек, всегда останется капля, в которой он унесет свою родину. Всю – необозримую и непостижимую, до последней травинки, щекочущей память, до последнего колоска, тиранящего сердце.

Они бежали из России. Пытаясь прижать неохватное. Сыпучая плоть родины – все, что осталось на дне их ладоней, – невзрачная горстка земли. Негромкая утешительница в будущих их скитаниях.

Они оставляли беспомощных предков своих, вобравших поглубже кресты на своих могилах. Дрожь земли закипала гулом грядущих орд.

Они оставляли будущее Родины своей. С настоящим в придачу. Сколько легло их, не добжевав! Сколько убежавших – возвратилось!

Видно, давно он не трогал прошлого. Неостановимого, как несвертываемая кровь. А коснувшись – не мог остановиться.

Давно стемнело. Захлопнули пивной, наскоро сбитый ларек. Разошлись его разноликие обитатели. А мы стояли у одноногого потрескавшегося стола и слушали его – свидетеля и участника величайшей русской трагедии. Все еще толкающей впереди себя свои разрушительные круги.

Кровавое бегство. Унижение. Свалка фамильных гербов... Пересыльные лагеря, пересыпанные тифозными вшами. Горечь посыпанных нафталином русских слов на днище захлопнувшихся Словесностей... Вростание в чужие берега... Оборванная строка летописи.

– Нет России нигде. Ни там, ни здесь! – заключил старик. – Нет и быть не может!

Где твои певцы, белоэмиграция? Какую родину тебе еще нужно? Родина, она еще родит народ! Но от кого?

Пусть зрячие напишут Одиссею!

...«Вы говорите, время проходит!»

Они проходят сквозь стены легко, только пропуск покажут...

– А знаете, здесь все философы отказываются от своих концепций, – поделился своими наблюдениями мой генерал. – Только один допрос с пристрастием – и концепций как не бывало. До чего же не убежденные в своем деле люди, – явно не симпатизировал философам старый чекист. – Сколько же их прошло через мои руки, пока Партия меня не перебросила на писателей. На этот ответственный участок идеологической работы.

– Ну и как писатели? – не удержался я «поболеть» за коллег. – Небось из своих творческих «я» туалетную бумагу крутили?! Кстати, сейчас модно подписывать на ней международные договора.

– Это как же? – поинтересовался генерал, невероятно любознательный мужчина.

– Ну, раньше на платочках, чтобы начхать. А теперь и утереться можно. Прогресс! Утерлись и пошли дальше. «Нам с вами не по пути, господа капиталисты!» «А как же договор?» – воскликнут бедняги. «А так – был да сплыл». И на импортный унитаз подозрительно чистым пальцем укажут.

– Вы лучше скажите – на что жить собираетесь? Ведь вас давненько уже не печатают. А теперь и переводы как пить дать отберут.

– Когда к писателю не идут, – перебил я его, – не печатают и заведомо на молчание обрекают, при этом замалчивая, как свои собственные преступления, игнорируют, пугают, шантажируют и морят голодом – он от этого не перестает быть писателем. Есть такая в народе фраза: «Положил я на вас с прибором!» В данной ситуации можно добавить – «С письменным».

– Да, с вами у нас все понятно.

– Да, ясность – вещь хорошая, – согласился я.

– Будем считать, что это последняя наша встреча, – сказал капээсэсовский генерал-куратор – писательский папа (не римский, но лубянский) как для круглых сирот, так и для идиотов круглых. С каждой встречей такой с меня отлетали бумажки-права, явно уменьшая возможности жить в этом мире. Я становился как бы меньше. А он громоздился и рос, становясь как бы больше. Я еще на ступеньку вниз. Он еще на ступеньку вверх. И еще норовил встать мне на плечи, как маленький. Тело его лезло из кожи – куда? Куда ты растешь, дядя, поочередно превращаясь то в указательный (прямо с плаката) палец, то во впритирку поджатый хвост? Конечность послушная, и что это перед моим носом так тобой размахались? Как же стараешься ты туловищу подражать! Да ведь и оно от головы далече. Да и где она – голова у этого всадника, что верхом на стольких нас?

Указательный туловища, чуть обрубленный, чтобы торчком. Вот чем в меня государство тычет. А как ведет себя эта конечность! Будто в одной кобуре у него смерть для меня, а в другой

– для себя бессмертье. Всеми одинаково причмокнет земля, уж поверь, волосатый! И лезущим спать на помойку, чтоб было теплей. И ночующим поуютней. Останется вила модерн, но с русским коньком на крыше, и даже не вздрогнет, когда обвислую плоть ее постояльца три метра земли перекусят. Даже Маркса не сможет достичь – червяком поползет поискать его бороду.

Разройте немного земли, и вы увидите – ползают черви. Это души красных ищут отца своего. Демократка земля – одинаково лопают всех. Да и мыслимо ли ей разбираться среди скопищ таких? Пусть на небе ломают голову – кто есть кто среди тех беспартийных, чья душа в состоянии выше трех метров подняться и уйти, притяженье порвав. Одного

схоронят от посторонних глаз на участке заброшенном. Другого – на виду – на отличном. Опять-таки, это отличие для еще живых. Все равно ими одинаково причмокнет земля. Вот кто сколько выгадал от прожитой жизни? Вот кто сколько и чего оставил, разумеется, кроме дерьма? Скажем, просто чистое место, к примеру. Подтер за собой, чтоб другие не вляпались. Перед тем, как отправиться в мир иной. Сразу видно, интеллигентный человек. Или так ушел, не беспокоясь – что о нем скажут. Или припрятал до лучших времен свою Венеру Милосскую, как Агесандр из Антиохии на Миандре, чтобы потом нашли и ахнули всем человечеством – будь то рукопись истлевшая, или кукиш, вынутый из кармана, или мемуары, чтоб сразу к потомкам без посредников, хитрец! Или оставил потомков побольше, едва ли не всех красавиц страны сделав матерями-героинями, чтоб хоть таким вот способом дольше жить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.